

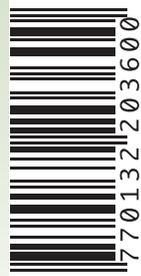
Наследие

Неподкупный правдолюбец,



Михаил МОРГУЛИС и Наум КОРЖАВИН
Читайте на стр. 24

ЮНОСТЬ · 2018 АВГУСТ



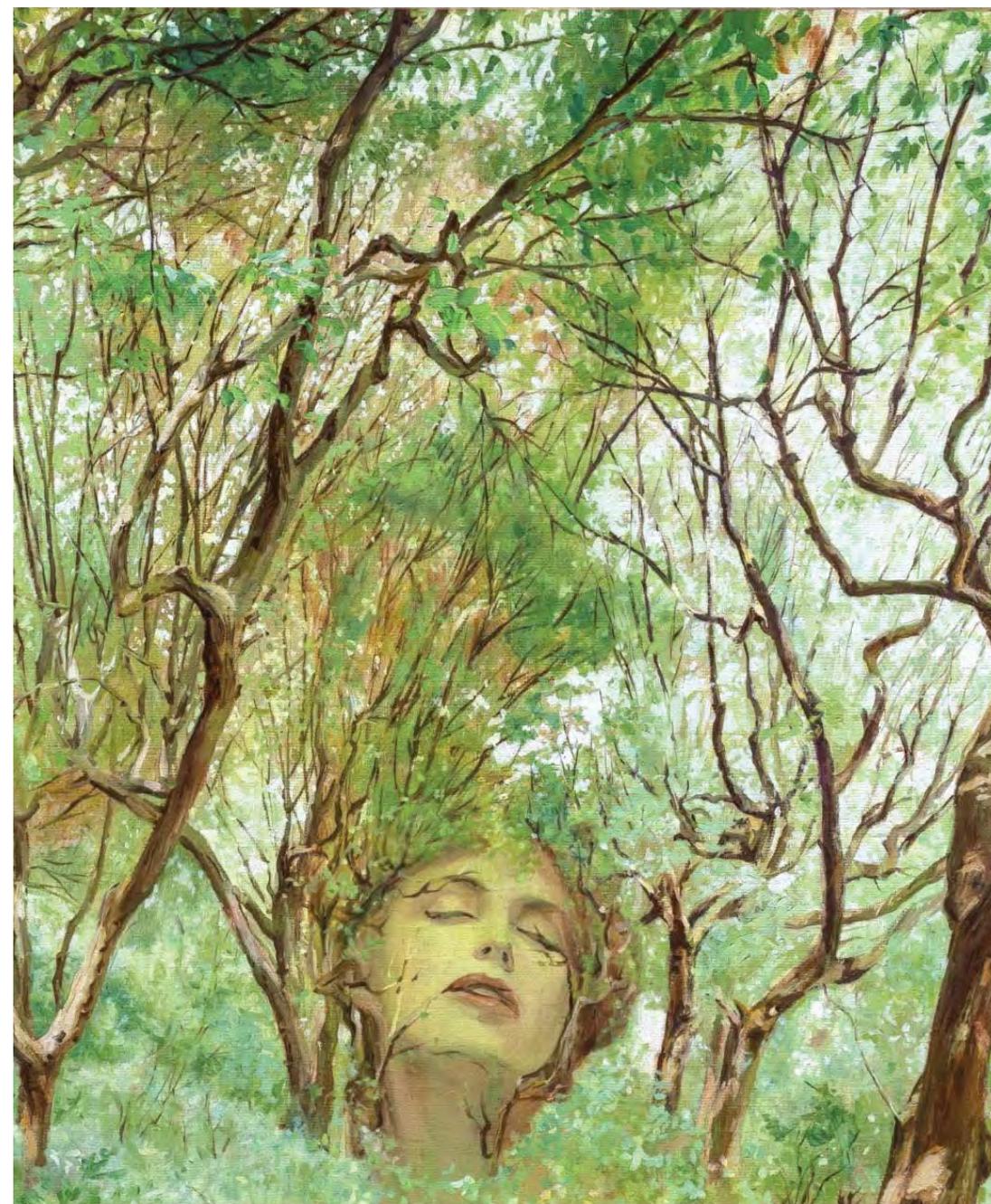
ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Выходит с июня 1955 г.



12+

№8 (751) 2018





Александр ОРЛОВ
Читайте на стр. 4



Фоторепортаж с премьеры музыкального фильма
Нины Сарапиан на 40-м Московском
международном кинофестивале

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Выходит с июня 1955 г.

№8 (751) 2018

«ЮНОСТЬ» © С. Краусаускас. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: unost-contact@mail.ru

Наш сайт: <http://unost.org>

Страница на «Фейсбуке»:

<https://www.facebook.com/unost>

На первой странице обложки работа
Никаса САФРОНОВА «Полтава.
История по Гоголю»

Главный редактор

Валерий ДУДАРЕВ

Редакционный совет:

Ильдар АБУЗЯРОВ

Лев АННИНСКИЙ

Зоя БОГУСЛАВСКАЯ

Анна ГЕДЫМИН

Сергей ГЛОВЮК

Борис ЕВСЕЕВ

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

Елена ИСАЕВА

Валерий КОЗЛОВ

Владимир КОСТРОВ

Нина КРАСНОВА

Татьяна КУЗОВЛЕВА

Евгений ЛЕСИН

Юрий ПОЛЯКОВ

Георгий ПРЯХИН

Владимир РАДЧЕНКО

Ольга РЫЧКОВА

Елена САЗАНОВИЧ

Александр СОКОЛОВ

Борис ТАРАСОВ

Елена ТАХО-ГОДИ

Олег ТОЛКАЧЕВ

Игорь ШАЙТАНОВ

Андрей ШАЦКОВ

Редакционная коллегия:

ответственный секретарь

Сергей АРУТЮНОВ

заведующая отделом литератур народов России и СНГ

Марианна ДУДАРЕВА

заведующая отделом критики

Елена МАКСИМОВА

главный художник

Ольга МАЛЬЦЕВА

заведующая отделом культуры

Татьяна МАХОВА

заместитель главного редактора, заведующий отделами

прозы и поэзии

Игорь МИХАЙЛОВ

заведующий отделом зарубежной литературы

Евгений НИКИТИН

заведующая отделом молодежи

Анастасия ПОПОВА

заместитель главного редактора, заведующий отделом публицистики

Евгений САФРОНОВ

заместитель главного редактора

Светлана ШИПИЦИНА

В НОМЕРЕ:

Поэзия

- Александр ОРЛОВ 4
Владимир ХОХЛЕВ 97

Проза

- Владимир КРУПИН
РАССКАЗЫ Продолжение 29
- Альберт ЛИХАНОВ
**ОГЛЯНИСЬ НА ПОВОРОТЕ, ИЛИ ХРОНИКА ЗАБЫТОГО
ВРЕМЕНИ** Роман в повестях. Продолжение 41
- Макс СЫСОЕВ
РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ ВОСПОМИНАНИЙ
Повесть. Продолжение 53

Страницы Льва Аннинского

ИЗ ЗАМЕТОК ГУЛЯКИ

- ЖЕЛЕЗНЯК (НЕ МАТРОС) ИЩЕТ ВЫХОД...** 11

Лицом к миру

- БЕСЕДЫ С НИКАСОМ САФРОНОВЫМ**
**БЕСЕДА ВТОРАЯ. РЕЗУС ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, СОФИ ЛОРЕН,
ДЖЕК НИКОЛСОН, РОБЕРТ ДЕ НИРО... ДЕНЬГИ ПОРТЯТ,
ИСКУССТВО УЧИТ НАС ФИЛОСОФСКИ ОТНОСИТЬСЯ И К ЖИЗНИ,
И К СМЕРТИ... ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗНАМЕНИТЫХ ПОЛОТЕН
НА СУВЕНИРАХ ЧАСТО СПАСАЕТ МУЗЕЙ... Я ДОЛЖЕН ЧТО-ТО
СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ, РАЗ УЖ ОСТАЛСЯ ЖИВ... ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ — ЭТО ВЕРШИНА В ИСКУССТВЕ...** 8

Национальные образы мира

ЧЕКАН ДУШИ

- Флюр ГАЛИМОВ
ПОКАЯНИЕ НАД ПРОПАСТЬЮ Трилогия. Продолжение 84

Уноземный сюжет

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

- Мик Стернер СЕНТ-ПОЛ
УЖАС МОРЕЙ Продолжение 91

Заведующий редакцией

Игорь РУТКОВСКИЙ

Отдел юмора

Генрих ПАЛОЯН

Редактор-корректор

Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление

Ольга МАЛЬЦЕВА

Фотокорреспондент

Антон ШИПИЦИН

Главный бухгалтер

Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей

Ирина УШАКОВА

Интернет-версия

Борис ДАНИЛОВ

Дежурные по редакции

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Администратор

Зинаида ПОТАПОВА

Что возмутило вас?

Евгений ИВАНОВ

- БЫЛЬ О ТОМ, КАК Я СПАС ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА... 15**
ОТКЛИКИ НА СТАТЬЮ О. И. ФЕДОВОА «УЧЕНОГО УЧИТЬ — ТОЛЬКО ПОРТИТЬ!» 19

Наследие

Михаил МОРГУЛИС

- НЕПОДУПНЫЙ ПРАВДОЛЮБЕЦ НАУМ КОРЖАВИН 24**

Кулинария

РУБРИКУ ВЕДЕТ НАТАЛЬЯ ЯКУШИНА

Оксана ГОРИЧ

- КАРТОШЕЧКА 94**

20-я комната (от пятнадцати и старше)

- ШМЕЛЕВСКИЙ КОНКУРС 68**

Ксения ЯКИМОВА 69

Рина ГОЛУБЕВА 75

Ульяна ФРОЛОВА 77

Ксения ЦЫЦЫНА 79

Ульяна БОЙЧЕВСКАЯ 82

Творческий конкурс

Вита ЛИХТ Петропавловск-Камчатский — Франкфурт-на-Майне 101

София АГАЧЕР США 106

В конце концов

ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ

Владимир КЛЮЧНИКОВ

- ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ТОГО СВЕТА** Повесть. Продолжение 111

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Александр МИХАЙЛОВ

- НАШЕСТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН 123**

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Галка ГАЛКИНА

- СТИВЕН КИНГ ИЛИ НЕ СТИВЕН КИНГ! 125**

ОКОЛОЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Проказник ГЕО

- «ГОП-СТОП, БИТТЕ!» 126**

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 8.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Авторы несут ответственность за достоверность представленных материалов. Мнения автора и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в ООО «Типография «Миттель пресс»

Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс: +7(495) 619-08-30,

+7(495) 647-01-89

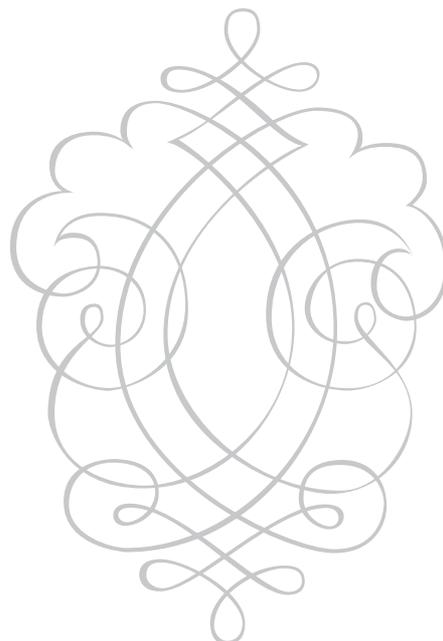
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №



Александр ОРЛОВ



Александр Орлов родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, права и литературы в ГБОУ «Школа № 1861 “Загорье”». Автор четырех стихотворных книг «Московский кочевник» (2012), «Белоснежная пряжа» (2014), «Время вербы» (2015), «Разнозимье» (2017), сборника малой прозы «Кравотынь» (2015) и книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси» (2015). Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова 2011 года, Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Обладатель золотого диплома VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2016), лауреат VIII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2017), обладатель специального приза ИС РПЦ «Дорога к храму» за стихотворную книгу «Разнозимье». Стихи публиковались в журналах «День и ночь», «Дон», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Лучик», «Наш современник», «Подъем», «Сибирские огни», «Юность»...

* * *

Ты не знаешь, как лучше, как хуже,
Волю Бога познать не дано,
Светит солнце, зажатое в луже,
За тебя уже все решено,

Заполняешь мирские пустоты,
Изнываешь от бросовых бед,
С кем-то сводишь вчерашние счета,
Причиняя надуманный вред,

Занимаешь свободную нишу,
Где уже до тебя кто-то жил,
Словно поступь я вижу и слышу —
Скрип ступеней, изломы перил.

Эта лестница в ясную бездну...
Ты решил, так иди же, вперед...
Даже если во тьме я исчезну,
Он услышит, простит и спасет.

* * *

Сергею Арутюнову

Столетье платежей и ипотек —
И кажется, что будет только хуже —
Но так же на асфальте мерзнут лужи
И прячется в одежды человек.
Дорога к Богу разве что поуже.

Поуже, да еще не всем видна —
Нет светофоров, постовых, разметки —
Лишь птицы красногрудые на ветке,
Целительница — полная луна
И звезды, заменившие таблетки.

Наш век сырыми войнами рожден,
Контуженный, в потертом камуфляже,
Он выстоял в эпоху распродажи,
Он выжить, как и прошлый, обречен.
Его понять вы не пытайтесь даже.

* * *

Константину Алексееву

Гололед или рытвина,
А мы все колесим,
Обращаясь молитвенно
К существам неземным.

Хмуро, скользко и дымно!
И вокруг — ни души.
Звуки звездного гимна
Заглушить не спеши.

Ты несешься, как вьюга,
Слышишь неба сигнал,
Кто с повадками друга,
Вдруг тебя обогнал?

Кто взлетел там, где узко,
Где обрывы дорог?

Возле черного спуска
Только Бог.

* * *

Арсению Замостьянову

Мгновенья кружат в кольцевой атаке,
И жизни наступил полуфинал.
О чем ты думал и чего ты ждал?
Ты состоял с природой в длинном браке,
В нем листопад меняет снеговал,
И греют звезды — вечные гуляки.

Но до весны всего один вершок,
Все разойдутся, но поодиночке.
Зима уйдет в разорванной сорочке,
Весна нажмет на спусковой крючок
И, выпуская на деревьях почки,
Тебе подарит лето между строк.

Вкусив тепла, пророки и зеваки
Поделятся на псов и на щенят,
Осудят рай и устрелятся в ад,
Не ведая, что из воздушной раки,
В дождях и вьюгах всепрощенья знаки
Им посылает Тот, Кто был распят.

Отче

Иеромонаху Макарию (Комогорову)

От полевиц, иван-да-марий,
Веснянок и разрыв-травы
На службу шел отец Макарий,
И вслед леса впадали в рвы.

Пылились трудников посадки,
Росли под сводом певчих птах.
И думал молодой монах
О Боровске, Алтае, Вятке...

О том, что ново и не ново
И к ночи жарко день приник,
О животворной власти слова,
О Господине всех владык,

О том, как жизнь иконописна,
Проста, смиренна, пресвята,
О том, что будет ныне, присно,
У всех крестившихся в Христа.

* * *

Ты веришь сугробам? Они мудрецы:
Кого ни возьми, он и зорок и сед,
Учет бесконечных и строгих бесед
Ведут от рождения зданий торцы:
Пред ними стоишь, одинок и раздет.
Ты — вечный ответчик, они же — истцы,
И так до скончания ветреных лет.

И кажется: только тебе невдомек,
Когда был затеян морозный процесс,
Какой у сугробов действительный вес,
Но дворник решительный быстро помог —
И вот пошатнулся и твой интерес.
Быть может, тот дворник — уже полубог,
Сошедший на миг с вдохновенных небес.

Не только твое промерзает нутро —
Иди и смотри на сгущение масс —
Рождает минута межсютчный час,
Сплетение судеб вершится в метро,
И только великий горячий наказ
Приносит на землю с рассветом ядро:
Ведь все это создано Богом для нас.



БЕСЕДЫ С НИКАСОМ САФРОНОВЫМ



Никас САФРОНОВ

Продолжение. Начало в № 7 за 2018 год

ОТ РЕДАКЦИИ

Интервью с художником Никасом Сафроновым вышло за рамки простого интервью. Никас Степанович оказался очень общительным, разговор получился дружеским и большим по объему. Беседа вышла умная и целостная.

Не хочется резать по живому, решили мы. С умным собеседником расставаться не хочется, и мы надеемся, что наша дружба с замечательным художником, добрым и общительным человеком — надолго. Навсегда!

**БЕСЕДА ВТОРАЯ. РЕЗУС ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ,
СОФИ ЛОРЕН, ДЖЕК НИКОЛСОН, РОБЕРТ ДЕ
НИРО... ДЕНЬГИ ПОРТЯТ, ИСКУССТВО УЧИТ
НАС ФИЛОСОФСКИ ОТНОСИТЬСЯ И К ЖИЗНИ,
И К СМЕРТИ... ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗНАМЕНИТЫХ
ПОЛОТЕН НА СУВЕНИРАХ ЧАСТО СПАСАЕТ
МУЗЕИ... Я ДОЛЖЕН ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ
ВСЕХ, РАЗ УЖ ОСТАЛСЯ ЖИВ... ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ — ЭТО ВЕРШИНА В ИСКУССТВЕ...**

«Юность»: Как Вы настраиваетесь на свою модель? Кто Ваш идеал?

Никас Сафронов: Если это не заказная история, а тот случай, когда я сам выбираю модель, тут сыграть может любой нюанс. Иногда я угадываю «своих» по резусу крови. Говорю: «У вас резус отрицательный». И действительно! «Откуда вы знаете?» Просто чувствую. Так я почувствовал когда-то Софи Лорен,

Джека Николсона, Роберта де Ниро, людей, с которыми контакт произошел моментально. Между нами сразу не было никаких преград, никаких барьеров, мы сразу расположились друг к другу, как будто всегда были близкими друзьями. Но... возвращаясь к прерванной теме: я наблюдал, как знакомые мне люди, становясь богаче, в процессе что-то теряли. Что-то, возможно, и находили, что в результате позволяло им зарабатывать

деньги, но в душе возникли некие пустоты, важные для счастливой жизни.

«Юность»: Деньги портят?

Никас Сафронов: И очень часто. С появлением их люди закрываются, уже не могут запросто общаться, боятся лишних вопросов, лишних просьб. Особенно если деньги достались им сложными путями. А некоторые вообще становятся «скупыми рыцарями» и способны радоваться только «золоту», не общаясь почти ни с кем, кроме очень-очень узкого круга.

«Юность»: А какие картины заказывают богатые? Золото, деньги?

Никас Сафронов: Не только деньги. Часто заказывают пейзажи, просят, чтобы на них были изображены лесистые горы или тихое и спокойное море. Чтобы все было по фэншуй. Многим нравится, чтобы по тихой воде шел корабль, а вместо парусов могут быть доллары или евро... Объясняя, что это вроде как к деньгам.

Такие вот работы, что вызывают спокойствие и наводят на размышления, заказывают и покупают. Как говорится, символизм на то и символизм. Я тоже хочу, чтобы все люди получали то, что их порадует. А большую часть денег от такой работы стараюсь тратить только на добрые дела. Да и картины даю на благие дела. Вот только вчера, нет, позавчера, к примеру, был аукцион, продали мою работу... Небольшая картина, из ранних моих работ, собрала, правда, только четыреста тысяч. Я, к сожалению, ушел пораньше, журналисты написали со слов участников аукциона, что из моих рук картина проданась бы и за полтора миллиона и больше. Жаль, что я еще и виноват остался. Моя помощница возмущалась, говорила: «Вместо того чтобы сказать: “Спасибо, Никас, все деньги пошли на благотворительность”, пишут: «Если бы Никас не покинул рано мероприятие...» Ну и конечно, хочется верить, что полученные деньги пошли... на благо.



Никас Сафронов. Сон о воде на фоне замка, или Вода и Камень имеют память. Холст, масло. 2006

«Юность»: Вернемся к книгам. Может быть, нас послушают издатели, идея проиллюстрировать словарь Даля довольно перспективная. Практически сейчас к Далю уже никто не обращается. Вы могли бы проиллюстрировать?

Никас Сафронов: Да, хотел бы, хотя работа и огромная. А еще я давно хочу сделать детскую «Азбуку», как у Бенуа. Есть еще одно интересное предложение — выпустить не просто книжку, а, скорее, обучающую игрушку, чтобы ребенок выбирал картинки, буквы, смотрел, что чему соответствует. Современные возможности иллюстрации позволяют сделать ее очень интересно, получаются не задания, а творческая игра. Это как детская мечта повлиять на сказку, которую читаешь. А сегодня технологии позволяют это сделать, я видел несколько лет назад подобным образом устроенную книгу «Алиса в Стране чудес». Нынешние дети развиваются быстро, им нужны новые возможности. Но я бы и сам от такой книжки не отказался!

Я за то, чтобы книжки сохранились, возможно, чтобы они стали и более современными. Ведь есть сегодня современный театр, он не исчез как жанр, хотя и предсказывали в начале XX века, что его полностью заменит кино, он просто изменился, стал немного другим. И у человека сегодня появилось больше возможностей — и кино, и театр. Так же и книги изменяют содержание, форму, но они, я уверен, останутся. Как остаются картины, несмотря на то, что репродукции и доступнее, и дешевле, и можно их увидеть в Интернете, и идти никуда не нужно. Но люди продолжают ходить в музеи, просто у них теперь есть возможность увидеть картину не только «живьем». Как никакой телепроповедник не заменит поход в церковь, так никакие фотографии не заменят живого общения с живописью. Пусть искусство иногда не так совершенно, как современные технические вещи, но оно говорит с человеком о самом главном. Я как-то читал рассказ о человеке, который хотел свести счеты с жизнью, уже и веревку, что называется, намылил, но вдруг услышал, как соседский мальчишка стал играть на скрипке, это было что-то классическое. И так старание мальчика тронуло, и музыка показалась какой-то особо прекрасной, и мир показался небезнадежным. И он подумал: «Бог с ней, с этой моей трагедией. Есть еще для чего жить». Часто искусство учит нас философски относиться и к жизни, и к смерти. И вообще ко всему относиться бережнее — к людям, к природе, к своей истории.

«Юность»: А искусство утилитарно?

Никас Сафронов: Иногда оно связано с простыми и прагматичными вещами просто потому, что мир таков и доброе дело тоже иногда требует денег. И я соглашаюсь на «утилитарные» проекты. Вот, например, салфетки с моими картинами, они продавались, а деньги, полагаю-

щиеся мне, пошли ростовскому Грековскому училищу, которое я когда-то окончил. И эти деньги помогли купить студентам учебники и все необходимое для рисования и живописи, гипс, модели и многое-многое нужное. Можно сказать: салфетки — это вовсе не искусство, ну а можно воспользоваться возможностью сделать благодаря этому добро. Тиражирование знаменитых полотен на сувенирах часто спасает музеи, дает им средства на реставрацию, на организацию выставок в других городах, странах. В сегодняшнем мире все взаимосвязано.

«Юность»: Никас Степанович, расскажите, как вы стали художником. Ведь у вас еще было увлечение, вы же заканчивали мореходку.

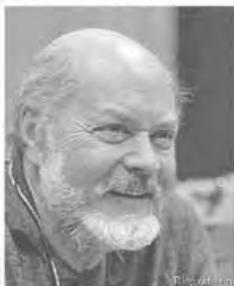
Никас Сафронов: Как я стал художником? Это, наверное, Божий промысел, и моя судьба не могла сложиться иначе. В детстве я и не мечтал о живописи, но происходили со мной случаи, когда я думал: «А для чего я живу? Кто сохранил мне жизнь в детстве и для чего?» В Ульяновске есть речка Свияга, приток Волги. Когда мне было года три и я совсем не умел плавать, я играл там, на пляже, зашел в воду, и меня закрутило течением. Страшно стало, я вдруг понял, что тону, но не хочу умирать. Я стал изо всех сил барахтаться и в результате выплыл. И после этого случая научился плавать и надолго потом сохранил ощущение: «Я живу, я должен жить не просто так, я должен что-то сделать, и, наверное, сделать лучше всех, раз уж остался жив».

Я помню также, как в первом классе нас повели на экскурсию в художественный музей, я увидел там картину одного голландца XVI века, очень тщательное полотно, где была изображена зима, оно мне очень понравилось, но я тогда еще подумал: «Если бы я был художником, я бы рисовал так же хорошо, а может, и лучше». Потом я, разумеется, это забыл и вспомнил только через много лет, когда увидел эту картину во сне. Поехал в Ульяновск, не смог ее найти, но по памяти написал по ее мотивам свою, совместил в ней и музейное здание, и тех голландских персонажей. Это был и мой сон, и мои детские воспоминания: зима, лед, коньки, санки, голландские костюмы и наш ульяновский художественный музей.

Когда-то, когда я уже преподавал, ко мне подошел студент и сказал: «Профессор, когда я стану большим художником, я хочу быть похожим на вас». Это приятно, конечно, но я в его возрасте мечтал быть похожим на Леонардо да Винчи. Только ставя самые высокие цели, можно чего-то добиться. Леонардо да Винчи — это уже не только человек, не только личность, это символ, это вершина в искусстве.

Окончание следует.

Страницы Льва Аннинского





ЖЕЛЕЗНЯК (НЕ МАТРОС) ИЩЕТ ВЫХОД...

«Все мы ищем выхода — а выхода нет... Лишь осознав это, мы начинаем жить. Просто жить — и все хорошо» (Николай Железняк).

У меня есть основания читать Железняка с особым вниманием и интересом. Он родился и осознал себя в Новочеркасске, потом учился и работал в Таганроге. Места, для меня овеянные родством: в Новочеркасске состарился и умер мой казачий дед; в Таганроге после окончания МГУ три года преподавал мой отец.

Земляки...

Николай Железняк со знанием и любовью описывает этот приазовский южнорусский край. На горизонте — все окрашивая и одухотворяя — гладь Азова. Плеск волн. Трепет зелени. Ближе состав звуков иной: музыка дороги.

Ездить по железной дороге любят с детства.

...Завораживает беспрестанная смена строений, людей, огней — сплетенные в беспрерывно перерождающуюся иную, множественную жизнь...

И еще.

Вагоны: понятно, пассажирские — спальные, купейные, плацкартные, общие; почтово-багажные, похожие на пассажирские, но с меньшим числом окон, иногда и с решетками, товарные. Тех каких только нет: дощатые коричневые для различных грузов, железные для угля, других сыпучих материалов, черные цистерны для нефти, бензина, солянки, кислоты, серые морозильники цельнометаллические с буквой «М» на боку, накрытые платформы.

Нет, еще, еще.

Губерния, край, область, уезд, район, волость, паланка, стан, округ — качели административного пограничья, бесконечное деление на страны с движением границ.

Кто, откуда, зачем стремился на эту окраину приазовской степи? От кого уезжая, убегая? Что ища: близости моря, свободной земли, воли? Словно дыханием огромного организма люди волнами отхлывывали и вновь приливали в эти места.

Что ж влекло их на этот конец суши, с вечной жизнью у рубежей, где перемещение черт через чуры (охранники духов. — Л. А.) незримо проходило по казенным картам, зримо по межам, но и по душам...

Поразительный портрет края, соединяющий в романе Железняка (а это в сущности роман) нынешний динамический статус Приазовья с древним инстинктом дороги (чем и объясняется казачья вольница, издревле царившая в этом краю).

Но не только казачий пейзаж роднит меня с земляком. Есть еще один важный аспект: чувство поколения.

Чтобы понять, откуда оно, надо вспомнить военное время.

Война определила нашу судьбу, хотя по возрасту и не мобилизовала в окопы. От предвоенных мирных лет остались счастливые детские воспоминания (хотя какие там счастливые, когда из кинозала выбегают деревенские бабки, ошалевшие от страха: прямо на них, не сворачивая, собираясь подавить, с экрана двигаются гусеничные трактора! В тридцать девятом: «Трактористы»).

Через считанные месяцы — война. Великая Отечественная. Малолетних граждан она осыпала осколками

памяти. Обрушилась пулями с фашистских самолетов. Патронами, найденными в траве (их так хорошо было бросать в костер!). И — вплоть до голода — бытовыми лишениями военных лет.

Все это и определило характер поколения спасенной войны, к которому принадлежим и мы с Максимовым. Девяностолетний рубеж на подходе! Самая пора, обернувшись, подвести итог.

Итог вроде бы благополучный. И пожили до старости, и целы остались. Счастливы!

В центре повествования — такой вот счастливый старик. Павел Иосифович (фамилию не привожу, чтобы не отвлекаться. Профессор университета, всю жизнь проработавший по мирной, свободно избранной специальности. До самой кончины, которая тоже описана, — такая посылается только праведникам!). Железняк складывает семейную сагу влюбленно, хотя не обходит ни эротических драм, но конфликтов общежитийского уровня. Двое сыновей у старика. Череду детских воспоминаний и прощальных сцен. Младший из братьев иногда входит в роль рассказчика. Но в центре повествования — старик Павел Иосифович. Представитель поколения спасенных детей страшного времени.

Поколение это (и мое, и Железняка, и его почти девяностолетнего героя) по сравнению с предыдущим, мобилизованным на фронт, и следующим, угодившим в кавказские разборки, я называю мирным. Благополучным.

Тем интереснее понять, что же вынесло это поколение из своей счастливой, мирной судьбы. В век Красного террора — проба счастьем? Какую исповедь впишет это поколение счастливых в историю страны?

Так ведь уже вписано! Вписаны великие тексты и незабываемые имена. Юрий Трифонов и Василий Шукшин. Это — на старшей, отеческой кромке. А в центре либеральной вольницы — Василий Аксенов, Георгий Владимов! И в противовес вольным либералам — национально четкие патриоты. Василий Белов и Валентин Распутин.

Увы, «Лад», изваянный Беловым, не осуществился, а разлад, разделивший новую русскую прозу соперничеством либералов и патриотов, совпал с неслыханным кризисом литературной жизни: падением традиционного читательского спроса и переадресацией словесности в развлекаловку и приключенчество.

Может, счастливый жребий героев Железняка поможет уравновесить общую ситуацию? Что удастся поколению, которое избежало смертельных ударов судьбы? Что вынесет оно из своего неповрежденно-го, природного существа? Что — в базисе и что — в итоге?

Итог — уже в том, что на первых же страницах повествования говорит сыну Павел Иосифович:

— Время подходит. То есть уходит, и нам пора уходить. Меня вот никак не заберут... туда. Сколько еще?

Его заберут — по ходу повествования. Но что таится за этой готовностью скорее уйти?

Старик с силой зажмурился. Предельное сгущение тьмы дает вспышку света — торжество света оборачивается слепотой. Бесконечный переход света во тьму и обратно, как борьба добра и зла, где белый свет — это и Бог в белых одеждах, находящийся в ослепительном мраке, и Белый Всадник — вестник междуусобицы, лжепророчеств, чумы в крошечном свете.

Белый цвет — гармоничное сочетание всех цветов, чистота, успокоение, духовность и цвет апокалипсиса, смерти, начинающей все наново.

Что — наново? Бесконечный переход со света во тьму?

Это и есть ответ на вопрос о том, что вынашивает душа человека, предоставленная своему неискаженному естеству. Междуусобицы. Ослепляющий мрак. Апокалипсис.

Не счастливое устройство на этой Земле, а ожидание неминуемого конца света.

Это — ответ Павла Иосифовича на вопрос о его судьбе. И ответ Николая Железняка на вопрос о естестве человека. И человечества.

Откуда это катастрофическое ожидание?

Из самой природы бытия.

Каково место человека во Вселенной? Курьез в чуждом ему мире огнедышащих звезд и черных дыр или закономерное явление — эволюционировавшая в ноосферу материя? Какой информационный космический фактор обуславливает появление мыслящей материи, органа самосознания Космоса там, где его не может быть с вероятностью один на миллион?

И у вас хватит духу на миллион предположений, из которых лишь только одно может обещать результат? Результат, который зависит не от нас, а от того, зацепит ли материю ноосфера? Тут уже космический фактор.

Смерть как биологический коллапс — тот же гравитационный коллапс, сама жизнь от клетки до могилы — модель Вселенной от начального взрыва до схлопывания. И рай, и ад — не в центрах удовольствия и страдания, а в моментах агонии.

Чем больше я переживаю смерть как момент агонии, тем меньше у меня надежд понять жизнь, проскакивающую между такими моментами. Тут ни удовольствия (но это я уж как-нибудь перетерпел бы), ни страдания (а вот это не пережить: без страдания смысл бытия окончательно исчезает).

Можно почувствовать вкус и запах, увидеть свет и форму — почувствовать и воспринять электрические сигналы мозгом, но понять, существует ли что-либо на самом деле, невозможно.

То ли на самом деле оно существует, а мы только воображаемые «моменты», то ли мы существуем, а реальность вокруг нас воображаема... какой вариант предпочтительнее, не могу решить. Это уж будущее решит. Если наступит.

А пока — летим, куда нас несет то ли логика реальности, то ли ей отсутствие. Естество бытия!

Куда несется человечество во власти этой интеллектуальной невыносимости? Может, покинуть ему это состояние? И если все же вырваться в космос из притяжения Земли, Солнца, а с четвертой космической скоростью — из нашей Галактики и лететь, удаляясь от нашей планеты, то начнешь к ней приближаться и, в конце концов... в конце концов (если долго идти в одном направлении, не заметишь, как оно сменится на противоположное — вернешься назад, к себе), обойдя всю Вселенную, совершив кругосветное путешествие, как корабль, единственный добравшийся в исходный порт, в вертящуюся в пустоте Землю, найти более вменяемое место пребывания?

Каким же ты вернешься назад, человечество? Изменишься ли фатально? Это будет означать твой финал. Или останешься неизменным? Это тоже ничего не предвещает, кроме конечного венца...

Мы мчимся куда-то, познавая мир, но в кольце Вселенной бесконечно возвращаемся к своим истокам, не имея возможности выйти за отведенные лимиты. Именно в этом заключается трагизм человеческого пути — в осознании конечности нашего существования. И тем не менее мы живем, зная, что ничего не поймем и не решим, и еще больше страдаем от бессмысленности жизни, и продолжая жить, когда остается только стараться увеличивать сумму добра, при этом понимая, что оно все равно будет колебаться у равновесного значения со злом — как день и ночь.

Реальны ли пути в этом кружении бессмыслицы? Какие могут быть пути, если все они исхожены и обманены, а идти надо по пустой земле, да еще покрытой снегом? И как идти: поодиночке или вместе?

Подходя к этом финальному вопросу, я хочу в заключение привести обширный фрагмент из Железняк, чтобы читатель мог лучше постичь философию безбытного бытия.

Мы продолжаем жить, принимая окружающее как реальность. Не в состоянии познать материю. Вовне нас небо — не голубое, листва — не зеленая, солнце — не красное. Все, все существует только благодаря нашему восприятию. Внешнего мира нам не достигнуть и не узнать о его существовании. Искусственное возбуждение, передаваемое на рецепторы, создаст полную иллюзию существования — шумящего вокруг мира, продолжения существования, при странном прекращении — чего? жизни? И есть ли разница между сном и подлинным миром? И чем мы видим во сне, ведь наше тело полностью там воображаемо. Значит, сила, которая видит сновидения, — за пределами воображающего мозга. В самом мозгу, состоящем из плоти, молекул белка и жира, нет ничего, что способно осознать видимое изображение, создать человеческое "я". Почему отдельные атомы видят изображение, а отдельные — точно такие же — нет? Воспринимаемая иллюзия, непрерывно создаваемая в вечности материальная вселенная, — всецущий, всеохватывающий свет, отбрасываемый на тень, — просматривается душой?

Движемся ли мы куда-нибудь? Идти по проторенным дорогам да еще строим — значит крутить уже прокрученные маршруты. Или лезть в тупик.

Да и дороги не найдешь, сплошное поле, да еще и под снегом.

Вдвоем тоже плохо: первый тратит силы, торя путь, второй тратит силы, чтобы попадать в следы первого.

Как быть?

Земляк озаглавливает свою исповедь:

«Одинокие следы на заснеженном поле».





Евгений ИВАНОВ

ИЗ ПИСЬМА

Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Юность»!

История, о которой я хочу вам рассказать, действительно имела место. Поэтому я назвал ее «Быль о том, как я спас русского поэта». Если приглядеться, то свастику до сих пор можно разглядеть на памятной табличке.

Евгений Иванов

Родился в 1978 году в г. Чернигове, УССР.

Образование высшее (история и практическая психология). С 2006 года работал в Черниговском областном историческом музее имени В. В. Тарновского.

Пишу с 2000 года.

Печатаюсь с 2007 года, в основном в местной периодической прессе и научных музейных сборниках.

Печатался в новосибирской газете «Педагогическое эхо». За несколько лет у меня появилась серия эссе «Заметки экскурсовода» — попытка анализа ощущений, своих и чужих, причин их появления и осознания того, чем я занимаюсь.

В 2007 году занял 3-е место в X Областном литературном конкурсе для детей и молодежи «Спробуй». В 2008-м принимал участие в литературном проекте «Литрузыч, Гу!», занял 2-е место в областном конкурсе молодых журналистов.

Принимал участие в молодежном ежегодном творческом проекте «Перехрестя», проводимом галереей «Пласт-Арт» (г. Чернигов).

Увлечения: литература и поэзия Серебряного века, история старообрядчества, история религии, археология, психология личности, написание стихов и прозы.



БЫЛЬ О ТОМ, КАК Я СПАС ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА¹

Кто такой Теодоро? Герой комедии Лопе де Вега «Собака на сене». Помните? Был еще Агонсильо Теодоро, историк, профессор Филиппинского университета в

Маниле. Кроме исторического образования, нас с Агонсильо ничего не связывает. А тот, который из кинофильма «Собака на сене», — это актер Михаил Боярский.

¹ Памятник Александру Сергеевичу Пушкину в городе Чернигове открыт 25 сентября [8 октября] 1900 года к столетию со дня рождения великого русского поэта на средства, собранные жителями города. Памятник представляет собой бронзовый бюст поэта, изготовленный в мастерской художественной бронзы К. Берто, установленный на постаменте из черного мрамора и гранита (который спроектировал местный литератор и художник Г. А. Коваленко) в Пушкинском сквере, заложенном еще в 1884 году.

— Анастасия! Звезда моя! — И усами так подергивал.

Шляпа мне его нравилась и как на коне скакал. Так вот, Теодоро — это мой полуношеский псевдоним, который нигде не использовался. Но рассказ не об этом, а о классике.

Итак, как я спас русского классика.

Вот я вам расскажу быль.

Было это давно. Ну, как давно? Все ведь относительно в нашем мире, но было.

Зима. Февраль. Сыро и промозгло. И снег такой тяжелый и рыхлый. То время, когда с гриппом легко познакомиться, как с попутчиком в купе. И он вот-вот на подходе, практически за углом. Вот сейчас зайдет — и будет о чем вам с ним поговорить.

Это такое время, когда весна еще не пришла, а зима тужится что есть силы, мол, уж я вам! Когда с тебя картины можно писать, натюрморты практически. Зимняя одежда надоела, сто одежек — и все на тебе. Чувствуешь себя время от времени то капустой, то луком. Такая ходячая овощебаза. Словом, погода та еще.

И вот иду я как-то на работу и, проходя мимо памятника мировому классику А. С. Пушкину, обращаю внимание, что какие-то уроненные во время родов

акушеркой люди его зеленой краской залили, а на постаменте фашистскую свастику нарисовали. И, видимо, для своих, таких же уроненных, для пущего увещевания, написали «К А Ц А П». Мол, на памятной табличке с Ф. И. О. и годами жизни вранье написано. И не Пушкин это вовсе.

По почерку видно было, что писали «искусствоведы», причем скорописью. Шутка ли, к великому прикасались! Как тут руке не дрогнуть? В пользу «искусствоведов» говорил еще тот неоспоримый факт, что, видимо, проведена была ими глубочайшая работа по изучению его корней. И, докопавшись до самой сути, они решили познакомить всех с результатами своего исследования, ознаменовав это эпической надписью.

Вот горемычные! Александр Сергеевич Пушкин, безусловно, был великим русским поэтом, подданным Российской империи, писавшим на русском языке. Но пятая графа... Посудите сами! Его прадед по материнской линии был эфиопом, а прабабка по отцовской линии — шведкой. Ну и кто он после этого?

Ну да бог с ними. Так вот. Пришел я, значит, в исторический музей, в котором в то время работал, и шороху навел. Мол, где это видано? В исторической части города, на территории заповедника, перед музеями памятники обливают. Одни горожане его сто лет назад



ставили, другие через сто лет обгадили. Мои засракули, конечно, завозмущались и как гуси заготовали: «Да, да, да! Где это видано? В центре города. Памятник...» Для тех, кто не знает, поясню: засракулями называют заслуженных работников культуры, это аббревиатура. Вот они-то меня и снарядили отмывать памятник русскому поэту. Снабдили какой-то ветошью, бензин в бутылке выдали и щетку в зубы всунули. Мол, орал? Шагай! Ну а мне-то что? Солдат спит, как говорится, а служба идет. Дело, думаю, не на пять минут, на свежем воздухе, да и подальше от начальства, — чем плохо? И устремился. Пришел к памятнику, стою и смотрю на эфиопское бронзовое лицо в зеленой краске и понимаю, что один не справлюсь. Чего одному прозябать на сыром ветру? Позвонил друзьям. Говорю им, что так, мол, и так, ужас и культурный беспредел творится в городе. Нужно помочь, отмыть. Собралось нас человека четыре. Лестницу приволокли, щеток принесли и приступили.

Решили начать с таблички. Плеснули мы бензин на свастику и давай тереть ее что есть мочи. Трем-трем, а эффекта ноль. Бензин испаряется, руки мерзнут, да и щетки капроновые мягкие разъезжаются. Толку от них ну никакого. Так прошел целый час. Тряпки наши пришли в негодность, так как поверхность, залитая краской, неровная была, а как рябь, — такова была задумка скульптора. Вот тряпки об нее и поистрепались. И тут кто-то из нас сказал: «Нужно греться. Долго не протянем!» Погода-то помните какая? В общем, с миру по нитке — и у нас появилось три бутылки портвейна. Все это время за нашей творческой ватагой через окна и решетки входной двери, притаившись, наблюдали работники культуры. В процесс они предпочли не вмешиваться.

Портвейн оказался коварным. Мы догадывались, что в бутылке из зеленого стекла что-то такое таится. Но чтобы такое и настолько! И, как следствие, работа в разы ускорилась и наполнилась воодушевлением.

Нужно сказать, что краска, которой залили бюст, очень быстро въелась в его каждый бугорок и ямочку. Поэтому нам пришлось, в прямом смысле слова, выковыривать ее из скульптурной ряби. Мой шорох в стенах музея, как говаривала наша завхоз, маленькая и суетливая, бесследно не прошел. То ли мои grand dam, то ли неусыпное и всевидящее око собачников, гуляющих по парку, вызвали своим звонком по телефону интерес у сотрудников правоохранительных органов. Да не просто сотрудников, а сотрудников СБУ, украинского КГБ. Вот представьте картину: куча грязных тряпок, бутылки из-под бензина и вина, четверо молодых спартанцев бородато-волосатой наружности в каких-то хламидях бегают, шумят, кричат вокруг памят-

ника и о чем-то спорят. При этом размахивают руками, что-то друг другу доказывают и время от времени с разных сторон пытаются пристроить большущую лестницу к голове Пушкина. И за всем этим через окна и решетки входной двери, притаившись, наблюдают труженики культуры, но в процесс не вмешиваются. Мало ли? Так, неожиданно для нас, рядом появились вездесущие чекисты, люди в серых пиджаках из машины марки Skoda.

Сыщики проявили бдительность и оперативно отреагировали на звонок от «пушкинистов». Люди, подойдя к нам, проявили четко структурированный интерес: что? где? когда? почему? И, главное, зачем? Мы объяснили, как смогли, что мы «младопушкинисты», неравнодушные к судьбе культурного наследия нашего города. Стараемся для потомков и, так сказать, выполняем свой гражданский долг. Чекисты прониклись нашей речью, сфотографировали памятник, нас с тряпками и зеленые бутылки и уточнили, чем могут помочь. И тут один из наших «младопушкинистов» со знающим видом, будто он всю жизнь что-то растворял, произнес: «Нужен растворитель номер 650 и тряпки. Много тряпок». «Органы» многозначительно покачали головой и, покопавшись в багажнике своего авто, извлекли из него неожиданно оказавшийся у них растворитель под номером 650 и целый пакет тряпок. Ну, как тряпок? Полный пакет, pardon, женских трусов. «Конфискат!» — как они объяснили потом. Нежно-розовые, с рюшками по краям, кремовые и белые, а также без узора, с бирочками. Никогда еще в наших руках такого и в ТАКОМ количестве не было. Надпись на этикетках гласила, что произведено все это было в Китае.

Работа встала!

И вот во время всего этого творческо-интимного бездействия, пока мы изучали достижения китайской промышленности, на горизонте появились журналисты. Ну куда же без них? Естественно, журналисты к нам. Что и как? А мы со знающим видом, с трусами в руках да с зелеными бутылками, им: «Идите вы, мол... в музей, там все расскажут. А нам некогда, у нас миссия и процесс. Не видно, что ли?» И вот тут-то настал звездный час моих музейных дам. Оставив свое убежище, при виде представителей средств массовой информации заслуженные пушкинисты, сочувствующие, заведующие отделами, словом, все, в ком проснулся ген негодования, посчитали своим долгом на камеру высказать свое «Где это видано?!». Ознакомить с жизнью великого поэта широкую общественность и рассказать об истории памятника. Затем по городским каналам так и прошла картинка: высокое собрание с благородными лицами и где-то там, на заднем плане, группа «творческой интеллигенции» с женскими трусами в руках.

В общем, пока представители культуры давали интервью и распространяли благородные флюиды, мы продолжали отмывать бюст Александра Сергеевича работы Карла Берто. Худо-бедно, но свастику мы смыли. Осталось дело за «кацапом» и гордым бронзовым профилем. Поскольку наверх лезть никто не хотел, им и так внизу уже было хорошо, то заглянуть в холодные, зеленые от краски глаза солнцу русской поэзии решил я. Вооружившись эсбзушным конфискатом и растворителем, прислонив к кудрявой головушке, ко лбу Александра Сергеевича лестницу, я полез наверх. Остальные же участники концессии ограничились советами и помывкой постамента.

И вот, стоя на третьей ступени сверху, я оказался лицом к лицу с жертвой Дантеса. Вот что вам сказать, когда смотришь в зрачок гения работы Карла Берто? Ощущения космические! Вот ты тут в холодном космосе на орбите, а там под тобой где-то вертится земля, снизу крики какие-то доносятся. Вот когда ты еще окажешься носом к носу с русским классиком? И ничего другого я не смог изречь, кроме как: «Ну что, брат Пушкин?» А он мне как бы телепатически, я это сразу почувствовал: «Да так, брат, так как-то все вышло...» Большой оригинал оказался. «Ладно, — говорю я, — с кем не бывает? Сейчас отмоем». И, намотав на палец китайский конфискат, ну, знаете, когда нужно одну ноздрю прочистить, приступил к исполнению своих обязанностей.

Стою я, ковыряю пальчиком в ноздре поэта, а на языке вертится одно: «Ковыряй, ковыряй, мой милый, сунь туда палец весь...», а в голове рой мыслей. «Сколько на земле жителей? Семь с половиной миллиардов. Сколько жителей в моем провинциальном городишке? Почти триста тысяч. Но почему-то именно я мою нос Александру Сергеевичу Пушкину. Вот она, суровая проза жизни». Но чувство сопричастности с великим меня не покидало.

А дальше? А что дальше? «Под лаской плюшевого пледа», именуемого портвейном, стою со своим чувством и думаю: «Какое унижение для А. С., что его, пардон, трусами женскими умывают. И ладно бы чай в термосе, тут и на трусы закрыть глаза можно, но у нас же не чай!» А тут, как назло, еще и совесть подгрызает начала. Той только повод дай! Хорек еще тот. Я заметил, что она вообще поесть любит. Только палец дай — руку откусит. А потом вдруг озарило меня: «Минуточку! Это кто написал?

Там, там во льду хранится
Бутылоч гордый строй,
И портера тaitся
Бочонок выписной.
Нам Бахус, заикаясь,
К нему покажет путь, —
Пойдемте все, шатаясь,
Под бочками заснуть!

Он? Он! А раз так, то мы практически в материал погрузились». Так сказать, подошли к решению проблемы со всей основательностью.

Кстати, для исторической справки. Не секрет, что любил Александр Сергеевич жженку. Этот напиток изготавливался на основе рома. Пунш (жженку) он испробовал еще в лицее. Ее Пушкин называл бенкендорфом, по его мнению, она имела «полицейское», усмиряющее действие на желудок. Но предпочитал он в основном французские вина, в особенности шампанское. Шампанским он запивал блины и шашлык в «снегах Таврийских». Он предпочитал всем маркам шампанского Saint-Péray.

Но потом он изменил своему любимому шампанскому в пользу красного вина бордо.

А если сам он не брезговал напитками, так нам, грешным, самой судьбой было разрешено с собой иметь портвейн.

Ну а что до женских аксессуаров, которыми мы его отмывали, так на этот счет можно быть спокойным. Женщин он любил:

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!

Ну а коли так, то и пикантный аксессуар из женского гардероба, думаю, вдохновил бы его на поэтические подвиги. А может, и не на поэтические.

Словом, отмывали мы табличку, сам бюст и нос с шевелюрой. Я потом еще шутил, что потомкам смогу сказать: «Да я самому Пушкину нос вытирал, пока вы еще под стол пешком ходили!»

И вот теперь, когда, бывает, прохожу мимо бюста Александра Сергеевича, частенько говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» А он мне телепатически и так как бы немного сконфуженно: «Да так, брат, так как-то все вышло».

г. Чернигов, Украина

ОТ РЕДАКЦИИ

Тема уничтожения подлинного образования в России, которую на страницах «Юности» затронул выдающийся ученый Олег Иванович Федотов,

вызвала отклики у многих наших читателей. Вот лишь некоторые из них.

ОТКЛИКИ НА СТАТЬЮ О. И. ФЕДОТОВА «УЧЕНОГО УЧИТЬ — ТОЛЬКО ПОРТИТЬ! (В ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА ОБ ОСКОПЛЕНИИ НАУКИ)»

Классификационная система Scopus включает 24 тематических раздела, охватывая в том числе и гуманитарные науки. Гуманитарные науки, включающие филологию, лингвистику и литературоведение, учат нас самопознанию и самосозиданию человека и человечества, то есть пониманию других культур и эпох. Включать в базу данных международной системы Scopus российские издания не то чтобы престижно, а необходимо, именно для того, чтобы развеивать русофобские мифы, обращаясь к интеллектуалам народов мира — ученым гуманитарных наук; важно донести до них смысл российских публикаций хотя бы в кратком описании содержания на английском языке. Заинтересованный читатель сделает перевод с русского на подходящий для него язык, а в особо исключительных случаях и изучит русский язык, как это случается со священниками православной церкви Америки и Канады, с трепетом относящимися к православной России. Разумеется, в настоящее время, время международных конференций, более или менее открытых границ общения с коллегами разных стран, важно иметь скопусовские публикации, тем более что их количество учитывается при переаттестации, присуждении научных степеней и т. п. Печально, если существует неравная конкуренция с западными коллегами при регистрации статьи или книги в «Скопусе». Если дело только в адекватном переводе на английский язык краткого содержания работы, то это не такая уж грозная проблема для тех же реформаторов-чиновников: уж

кто-кто, а чиновник, заимствующий у соседей принципы классификации, должен знать английский язык. Помнится, в советское время в научно-технических отделах институтов была должность переводчика.

Совершенно прав О. И. Федотов в том, что для гуманитариев, печатающихся в родных престижных русскоязычных периодических изданиях, крайне важно, чтобы «Русская литература», и «Русский фольклор», и «Вопросы литературы», и «Известия РАН. Серия языка и литературы» имели высокий статус Scopus или Web of Science. И этого тоже должны добиваться именно самого высокого ранга чиновники в ансамбле с учеными.

О. И. Федотов затрагивает наболевшую тему «произвола» чиновников на местах, когда, оказывается, каждый шаг преподавателя гуманитарного учебного заведения должен быть регламентирован и подтвержден нужной инструкцией со ссылками на стандарты. Один наш знакомый доцент в музыкально-образовательном институте признавался, что если бы не помощь домашних по заполнению в компьютере «компетенций», его, специалиста в своем деле, просто бы уволили с работы.

Остается только уповать на благоразумие высокого уровня организаторов и реформаторов научных гуманитарных учреждений в деле достижения плодотворного консенсуса с учеными-гуманитариями, недовольными гнетом бюрократии, отвлекающей их от исследований в собственно их профессиональной области.

С. И. Передереева, к. х. н.



* * *

Поддерживаю патриотический пафос статьи
О. И. Федотова!

С. А. Матяш, профессор, доктор фил. наук, Оренбургский государственный университет

ВСЕ ПОНИМАЮТ УЩЕРБНОСТЬ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

...Статьи я с живым интересом прочитала, подобные чувства испытываю тоже. Что касается коллег, то все понимают ущербность политики в области образования, но предпочитают об этом не говорить — может, по причине невозможности что-либо изменить, а скорее по причине годами сформировавшейся пассивности. Ведь нужно как-то устоять в условиях нововведений, а то можно и

места лишиться. Выискала, например, директор школы где-то в Трудовом кодексе статью о том, что можно уволить работника из-за «потери доверия». И ведь считает себя «государственным служащим», о чем не раз говорила.

Хочется, чтобы внутреннюю политику определяли не чиновники, а настоящие граждане нашей страны.

С уважением, Светлана

ОДНА МЕГАИДЕЯ И ДВЕ АНТИНОМИИ

ПЬЕСА-СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕАТРА АБСУРДА

П р е д с е д а т е л ь. Всем привет! Начинаем наш мозговой штурм ученой степени! Так... кинооператор здесь, переводчик с птичьего научного языка здесь, соискатель здесь, Мандельштам здесь... Я хочу сказать... *(тычет пальцами в лиловые тома диссертации)*. Здесь!

С е к р е т а р ь. Не все члены совета соизволили...

П р е д с е д а т е л ь. Что такое?

С е к р е т а р ь. Пятый член стоит в пробке на Ленинском проспекте, седьмой член застрял в пробке в буфете. Двадцать первый член проводит рубежную аттестацию и межсезонную дезактивацию личного состава. Двадцать второй член заблудился между третьим и четвертым стандартами образования.

П р е д с е д а т е л ь. Ничего страшного. Вмонтируем их потом в начало кино. Слово секретарю!

С е к р е т а р ь. Уважаемые члены! Тема у вас на руках. Соискатель — вот он, вы его все знаете. Прошел аспирантуру, экзамены сдал, диссертацию написал, кровь из пальца дал, мочу сдал.

П р е д с е д а т е л ь. При чем тут моча?

С е к р е т а р ь. Согласно новому положению ВАК, без мочи соискатель не допускается до защиты.

Т р и н а д ц а т ы й ч л е н. Я слышал, скоро и членов совета заставлять будут...

Входит декан.

П р е д с е д а т е л ь. Лезьте сюда, под камеру. Пусть думают, что вы здесь с самого начала.

Д е к а н. Ну-ка давайте проведем диссертационную гимнастику. Руководство требует. Приготовились... Глаза туда... глаза сюда... глаза на пол... глаза на потолок... шея вверх... шея вниз... Ногой по стулу — раз... ногой по стулу — два-с! Шевелите пальцами!

С е к р е т а р ь. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали.

Д е к а н. Очень хорошо. Думаю, руководство будет довольно. Да, кстати... Не забудьте, что после занятий каждый профессор должен проделать не меньше ста приседаний, одобренных ВАК, доцент — семьдесят пять, ассистент — двадцать. *(Уходит, ныряя под камеру.)*

П р е д с е д а т е л ь. Слово соискателю.

С о и с к а т е л ь. Дорогой председатель, любезная секретарша...

Секретарь. Лучше говорить просто: секретарь.
 Соискатель. Спасибо за подсказку, госпожа секретарь. Уважаемые советские члены!
 Председатель. Надо говорить: члены совета.
 Соискатель. Еще раз спасибо. Дорогие хозяева, гости и совершенно посторонние люди! Разрешите огласить список моих идей... по поводу...
 Председатель. Не надо списка. Давайте главное.
 Соискатель. Хорошо. Тогда я оглашу мегаидею. В судьбе Мандельштама были две большие антиномии: жизнь и смерть.
 Второй член. Это открытие!
 Председатель. Это все?
 Соискатель. В общих чертах. И да здравствует наш мудрый ВАК!
 Председатель. Есть ли вопросы к соискателю?
 Непонятно кто. Что вы можете сказать о судьбе сына Мандельштама, Леонида Осиповича?
 Председатель. Это что еще за хмырь? Кто его привел?
 Секретарь. Вы, наверное, шли на другой совет, а попали сюда?
 Непонятно кто. Я шел на совет по генетике и общинно-родовым связям.
 Секретарь. Генетики переехали в подвал. Там и заседают.

 Непонятно кто ныряет под камеру и исчезает.

 Председатель. Пусть выступит научная мама.
 Научная мама. Мой подопечный изобрел одну мегаидею.
 Председатель. Конкретнее.
 Научная мама. Он сочинил две антиномии.
 Председатель. Это уже лучше. Но вы не должны говорить о работе подзащитного, вы должны говорить о человеке.
 Научная мама. Он такой хороший, хороший!
 Председатель. Конкретнее!
 Научная мама. Он помогает старшим. Он сам мусор выносит из избы.
 Председатель. Это лучше.
 Научная мама. Он хороший, хороший! *(Всхлипывает.)*
 Председатель. Выведите ее в туалет. Только осторожно. Ныряйте под камеру. Не трясите штатив. А то мы все смазанными в кино получимся.
 Восьмой член. А можно будет посмотреть кино?
 Секретарь. Нельзя. Его засекретят и отправят в лабораторию ВАК.
 Восьмой член. Зря снимались...

Одиннадцатый член. А я слышал, лучшие ваковские ленты будут представлены на кинофестивале в Каннах.
 Секретарь. Размечтался...
 Председатель. Порядок, соблюдайте порядок... Есть у нас ведущий отзыв внешней организации?
 Секретарь. Натурально, есть. Во внешнем отзыве внешней организации с внешней стороны рассматривается внутренний мир соискателя.
 Председатель. Ну и как он там, изнутри?
 Секретарь. Годится.
 Председатель. Кстати, а где главный оппонент?
 Восьмой член. Болеет.
 Председатель. А кто сегодня играет?
 Восьмой член. «Челси» — «Барселона». Он болеет за «Барселону».

Входит главный оппонент.

Главный оппонент. Матч отложили: Абрамович на стадион не приехал. Разрешите выступить.
 Председатель. Валяйте.
 Главный оппонент. Ну, так вот, я и говорю... Написал. Открыл. Подытожил. Однако, при всех достоинствах работы, в ней есть несомненные недостатки. Какие ж у Мандельштама антиномии? Слепому видно: дихотомия!
 Председатель. Соискатель, ответьте главному.
 Соискатель. Помилуйте! Да о чем там речь? Ну, антиномии, ну, дихотомия... Я все учту при своей дальнейшей работе.

Входит проректор по научной работе. Ныряет под камеру.

Председатель. Шея назад! Шея вперед! Нога туда! Нога сюда! Глаза вовнутрь, глаза навыват!
 Секретарь. Мы писали, мы писали...
 Проректор. Диссертационная гимнастика? Похвально. Но я не за этим. Новое распоряжение руководства. С сегодняшнего дня на защиту будут допускаться только те члены совета, которые имеют ваковские публикации. Не меньше двенадцати за месяц.
 Тринадцатый член. А у кого нет столько?
 Проректор. Таких недостойных и несоответствующих ВАК не будет допускать до банкета. *(Ныряет под камеру. Уходит.)*
 Одиннадцатый член. Надо будет с собой приносить.

Тринадцатый член. Или — в себе...

Появляется за в. аспирантурой. Проползает под камерой.

Зав. аспирантурой. В соответствии с решением руководств защита диссертаций отныне переводится на рейтингово-балльную систему.

Секретарь. Сколько будут выделять кредитов?

Зав. аспирантурой. Пять на докторскую, полтора на кандидатскую. Единогласная защита — сто баллов, один против — девяносто, два против — семьдесят и т. д.

Тринадцатый член. А если кто воздержался?

Зав. аспирантурой. Того, кто испортит бюллетень, будут поить испорченной водкой. *(Уползает под камеру.)*

Председатель. Ну чего там, ладно, разберемся. Молодого оппонента из буфета привели? Говорить может? Сколько ему лет? Двадцать пять? Не иначе как на птичьем языке изъясняться будет. Где у нас переводчик с птичьего научного языка?

Молодой оппонент перепрыгивает через камеру и заглядывает в навороченный экранчик.

Молодой оппонент. При чем тут антиномии? Понимая чисто языковую выразительность... как форму организации ритма... высокое ожидание, примерно равное 0,17, среднее — 0,06 и низкое — менее 0,1...

Научная мама. Он хороший, хороший... *(Рыдает.)*

Председатель. Она все еще здесь? Дайте ей почитать положительную характеристику на соискателя!

Научная мама. У него доброе нутро. *(Затишает.)*

Председатель *(молодому оппоненту.)* Продолжайте.

Молодой оппонент. А вы не очень-то здесь! Меня в высшей школе поэзии ждуть! Так вот, о чем, бишь, я? Ах да! Таким образом, выразительность достигается за счет контраста внутри группы одного ожидания.

Председатель. Ближе к теме, пожалуйста.

Молодой оппонент. Да чего уж там? Сверхслабое воздействие сигналов, получаемых при автоматическом разложении реального объекта восприятия на ряды однородности по известным читателю категориям...

Председатель. У вас все?

Молодой оппонент. Почти что. Куда ж без интертекстуальных связей... Мандельштам... Ахматова... дифференциальный признак во многом отождествляе-

мых объектов... ну или как фактор, соотносящий лексический повтор с другими узлами... соискателю нужно подработать... Да, и самое скверное: у него напрочь отсутствует когнитивный дискурс!

Двадцатый член. Безобразие! Куда смотрела экспертная комиссия?

Второй член. Я отменяю свой тезис об открытии!

Председатель. Тихо, тихо! Слово переводчику с птичьего научного языка.

Переводчик с птичьего. Да все и так понятно. Молодой оппонент хотел сказать, что диссертацию следовало бы отнести к недостаткам соискателя, однако его грубейшие промахи отнюдь не снижают научную ценность работы.

Второй член. Ну ладно уж. Открытие — так открытие...

Входит проректор по учебной работе. Просачивается между стеной и кинокамерой.

Председатель. Плечи — вместе, глаза — врозь. Рукой по затылку — бац!

Одиннадцатый член. И легкой ножкой ножку бьет...

Проректор по учебной работе *(глядя на собравшихся)*. Так... почему не на занятиях?

Секретарь. Видите ли, у нас... это... диссертационный совет.

Проректор. Ничего не знаю. Все должны сидеть в аудиториях со студентами.

Тринадцатый член. А кто уже отсидел?

Проректор. Идите на рынок. У нас — рыночная экономика. Зарабатывайте деньги для университета. Напоминаю: каждый профессор должен изготовить и продать семь глиняных петушков-свистулек, каждый доцент — пять, старший преподаватель — два, ассистент — одного. *(Уходит, крутанув камеру.)*

Председатель. Кто хотел бы выступить?

Восьмой член. Соискатель употребил слишком мало ваковских слов.

Соискатель. Да здравствует наш мудрый ВАК, самый справедливый ВАК на всем постсоветском пространстве!

Восьмой член. Все равно маловато...

Научная мама. Он хороший, хороший!

Председатель. Кто еще хотел бы?

Пятый член. Вечереет...

Седьмой член. Я вот тут перечитал Мандельштама, так, знаете, здорово! И соискатель такое нашел... И так обнял... необъемное...

Председатель. Кто еще?

Пятый член. Темнеет...

Одиннадцатый член. А я вот, не поверите ли, был в Воронеже... так там стоит...

Пятый член. Ночь уже...

Второй член. А кто у нас в следующий раз — Ахматова или Гумилев?

Председатель. Кстати, у нас следующая защита по рекламе, в смысле, журналистике.

Второй член. А конкретнее?

Председатель. Реклама нижнего белья. С филологическим уклоном.

Секретарь. В гендерном аспекте!

Тринадцатый член. Я требую продолжения защиты!

Пятый член. Светает...

Соискатель Ну, мы тут, приглашаем...

Переводчик с птичьего. Айда на симпозиум!

Председатель. Погодите, погодите, а кто будет считать баллрейтинги?

Тринадцатый член. Погнали в кафе «Галлюцинация», там и сосчитаем!

Научная мама. Он хороший, хороший!

Входит министр образования и науки. Прячет лицо от кинокамеры.

Министр. Ничего хорошего! Диссертации отменяются. Науки больше не будет. Образование — тоже. Всем — сдавать нормы ГТО. Бегом — марш!

Члены совета стремительно бегут к выходу, сметая на своем пути оператора со штативом, министра и кинокамеру.

Занавес.

Сергей Пинаев, профессор РУДН (Москва)



ОТ РЕДАКЦИИ

Сегодня лишь малый разговор о поэте выдающемся — Науме Коржавине. Он, можно сказать, вышел из «Юности», где в начале шестидесятых годов прошлого века не только

публиковал стихи, но и вел обзоры удач и срывов начинающих стихотворцев.

Близко знал поэта писатель и священнослужитель Михаил Моргулис. Ему слово.

НЕПОДУКПНЫЙ ПРАВДОЛЮБЕЦ НАУМ КОРЖАВИН

О больших людях надо писать скупой, они говорят о себе своими делами. В литературе они говорят прозой, стихами. Говорят своим поведением в жизни: благородством или вещами противоположными. Что таить, известно, многие писатели в жизни совсем другие, чем в своих книгах. Но есть редкие, которые одинаково чисты и мудры как в книгах, так и в жизни. Таким был мой друг Виктор Платонович Некрасов. Таким был Наум Моисеевич Коржавин. Пять лет мы провели вместе в штате Вермонт, в летней программе Норвичского университета. К Коржавину более всего относились классические фразы другого Некрасова, Николая, дореволюционного: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», и знаменитые евшенковские: «Поэт в России — больше, чем поэт». Но Коржавин был большим поэтом в жизни и большим гражданином в поэзии.

Поэзия — как женщина, в нее можно влюбиться или остаться равнодушным. Можно ее уважать, ценить, даже восхищаться, но не любить. Хотя многие Коржавина ценили и любили, но многие и не щадили. Как и он сам, если не любил, так не любил, если не щадил, так не щадил.

Конечно, его классическое стихотворение «Памяти Герцена» — «...какая сука разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спит...» — всколыхнуло полуспящую, затаенную, жившую в страхе интеллигенцию Советского Союза. Много можно о нем рассказать, уже рассказали, и еще расскажут, как он сидел в тюрьме за свои стихи, как выступал. В конце 1940-х его, студента Литературного института, репрессировали (в его стихах нашли «пессимизм, неверие в творческое дело партии» и «навязчивые мысли об арестах 1937 года»); по собственным словам, в ссылке он стал «антисталинистом».



Некрасов, клоун, Моргулис, Коржавин

Постоянно жила в нем непримиримая гражданственность, великая тяга к справедливости.

Но я коснусь другого, личных соприкосновений с ним в благословенном штате Вермонт. Сюда к нам, в Норвичский университет, приезжали Василий Аксенов, Булат Окуджава, Александр Солженицын и многие другие известные и малоизвестные профессионалы в литературе. Говоря воинским языком, были и генералы, были и лейтенанты. Всех встречали мой учитель профессор Леонид Денисович Ржевский и замечательный историк Николай Всеволодович Первушин.

Коржавин в жизни был большущий интеллигент, а к женщинам проявлял особую нежность. Для него женщина была каким-то особым созданием, залетевшим в наш жестокий мир. Всех он называл ласковыми именами, мою жену, Татьяну Николаевну, — Танечка-Танюша. А свою жену Любу Мандель — Любаша, Любашенька. Так было в бытовой жизни. Но стоило заговорить о поэзии, сказать что-то Эмой не воспринимаемое, в чем, как ему казалось, чувствовалась фальшь, не-

справедливость, как он вскипал, лавой обрушивалась мысль, захлебывался и доказывал, где правда, а где ложь. Но видел он только свою правду. Как-то я неосторожно вспомнил Мандельштама, его «художник нам изобразил глубокий обморок сирени...», как в ответ задрожали руки, крик: «Что вы все носитесь с Мандельштамом, да, он чрезмерно талантлив, но он не один!»

Однажды в Вермонте мы пошли в цирк-шапито, Виктор Некрасов, Коржавин и я. Подслеповатый Коржавин зацепился за край манежа и упал. К нему подбежал клоун и помог подняться. Боже, какое счастье было на его круглом лице. Он закричал, как ребенок: «Вика (Некрасов), Миня (я), это же настоящий клоун, сфотографируйте меня с ним!» И он обнял клоуна и был совершенно счастлив.

А однажды, тоже в Вермонте, он взобрался на зеленый холм, лег и покатился вниз, что-то щебеча в порыве детской радости. И мы все заразились этим и тоже стали взбираться на холм и катиться-катиться, как будто в детство.

Все ходили в пиццерию «Папа Джон», ели пиццу, пили пиво. Он часто был с нами, как-то посмотрел на нас с Некрасовым и вдруг сказал на идиш: «Шикеры!», то есть пьяницы. В тот момент он был очень похож на знаменитого Исаака Бабея. Я ему сказал об этом. Он засмеялся, ему было приятно.

Всю жизнь он близко дружил с Владимиром Войновичем и Булатом Окуджавой. Они были схожи в своей непримиримости ко лжи.

В журнале «Литературный курьер», который я издавал в Нью-Йорке, шла полемика о Солженицыне. На Солженицына подали в суд два сотрудника радио «Свобода». Коржавин написал замечательное письмо-статью о том, что это фальсификация фактов, инсинуация, похожая на советские методы пафосного вранья, чтобы опорочить имя писателя.

Было это в 1984 году.

О Бродском при нем лучше было не вспоминать, однажды проговорил: «Босяк, старающийся быть интеллектуалом». Но добавил: «Есть хорошие стихи, пока он сам себя не испортил». Вспоминал, что Анна Ахматова якобы сказала после эмиграции Бродского: «Теперь, когда “рыжий” попал в руки нью-йоркских бизнесменов, я за него спокойна!»

Добрые люди есть везде, и в полиции, и в милиции, и среди дворников. Но поэт особо должен щадить других поэтов, тогда когда-нибудь и его пощадят. Но вместе поэтам быть трудно. Как и



Некрасов и Коржавин

фотомоделям. И те и другие спокойны и добры, когда нет рядом коллег по цеху.

Коржавин умел готовить хлебную водку из спирта. Ржаные сухари заматывал в марлю и опускал в спирт. За три дня спирт пропитывался хлебным запахом, и получалась «Хлебная коржавинская». Он со своей детской радостью демонстрировал свой продукт в Вермонте и Бостоне.

Я часто вспоминаю, как он приходил в наш дом в Вермонте, рядом с университетом. Замечательный философ и поэт, добрейший и честнейший. Он напоминал мне мудрого цадика из местечка, не знающего, где он забыл галоши, но знающего, что случится в будущем. С ним дышалось хорошо.

«Мы не в изгнании, а мы в послании!» Первым сказал эти великие слова о российской эмиграции Дмитрий Мережковский еще в 20-х годах прошлого столетия. Потом их повторяла Нина Берберова, и как заклинание, постоянно вспоминал Коржавин: «Мы не в изгнании, а мы в послании!»

В этом месте статьи я подумал, что он не только поэт-гражданин, но и поэт любви. Но затаенный. Вот написанное в 1947 году, когда Сталин снова стал сажать в лагеря победившую послевоенную Россию. А он пишет о любви: «От дурачеств, от ума ли Жили мы с тобой, смеясь, И любовью не назвали Кратковременную связь, Приписав блаженство это В трудный год после войны Морю солнечного света И влиянию весны... Что ж! Любовь смутна, как осень, Высока, как небеса... Ну, а мне б хотелось очень Жить так просто и писать. Но не с тем, чтоб сдвинуть горы, Не вгрызаясь глубоко, — А как Пушкин про Ижоры — Безмятежно и легко».

О нем много написали, а теперь напишут еще больше. Ведь таких людей начинают ценить после их смерти. Особенно писателей и поэтов. Уверен, хорошо напишет о нем его преданный друг Владимир Войнович. Я же, в скачущих мыслях, самые важные вижу в том, что Наум Коржавин был постоянно честен, чист, неподкупен. Он был ребенком и мудрецом. После смерти Евтушенко Коржавин оставался как одинокое дерево среди поваленных грозой других деревьев. Теперь и он упал. И окончательно закончилась эпоха прошлых слез, надежд, любви

и необъяснимой честности некоторых людей. Среди этой малой группы был Наум Коржавин, ставший замечательной частью русской поэзии. Вот что он написал в 1956 году: «В наши подлые времена Человеку совесть нужна, Мысли те, что в делах ни к чему, Друг, чтоб их доверять ему. Чтоб в неделю хоть час один Быть свободным и молодым. Солнце, воздух, вода, еда — Все, что нужно всем и всегда. И тогда уже может он Дождаться иных времен».

Времена повторяются. И строчки хороших поэтов актуальны всегда.

Михаил Моргулис, фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ

А нам лишь остается представить фрагмент из наследия Наума Моисеевича Коржавина.

Вчитайтесь в эти стихи — много ли потом останется в душе вашей от века нынешнего...

Последний язычник

(Письмо из VI века в XX)

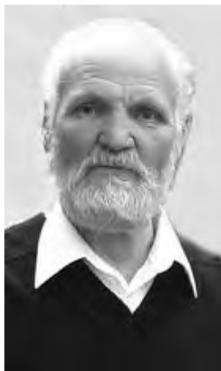
Гордость,
мысль,
красота —
все об этом давно отгрустили.
Все креститься привыкли,
всем истина стала ясна...
Я последний язычник
среди христиан Византии.
Я один не привык...
Свою чашу я выпью до дна.
Я для вас ретроград. —
То ль душитель рабов и народа,
То ли в шкуры одетый
дикарь с придунайских равнин...
Чушь!
Рабов не душил я —
от них защищал я свободу.
И не с ними —
со мной
гордость Рима и мудрость Афин.
Но подчищены книги...
И вряд ли уже вам удастся
Уяснить, как мы гибли,
притворства и лжи не терпя,

Чем гордились отцы,
как стыдились, что есть еще рабство,
Как мой прадед-сенатор
скрывал христиан у себя...
А они пожалеют меня?
— Подтолкнут еще малость!
Что жалеть,
если смерть —
не конец, а начало судьбы.
Власть все общей любви
напрочь вывела всякую жалость,
А рабы нынче — все.
Только власти достигли рабы.
В рабстве — равенство их,
все — рабы, и никто не в обиде.
Всем
подчищенных истин
доступна равно
простота.
Миром правит Любовь —
и Любовью живут, —
ненавидя.
Коль Христос есть Любовь,
каждый час распиная Христа.
Нет, отнюдь не из тех я,
кто гнал их к арене и плахе,
Кто ревел на трибунах,
у низменной страсти в плену.
Все такие давно
поступили в попы и монахи.
И меня же с амвонов
поносят за эту вину.
Но в ответ я молчу.
Все равно мы над бездной повисли.
Все равно мне конец,
все равно я пощады не жду.
Хоть, последний язычник,
смущаюсь я гордою мыслью,
Что я ближе монахов
к их вечной любви и Христу.
Только я — не они, —
сам себя не предаю никогда я,
И пускай я погибну,
но я не завидую им:
То, что вижу я — вижу.
И то, что я знаю — я знаю.
Я последний язычник.
Такой, как Афины и Рим.

Вижу ночь пред собой.
А для всех — еще раннее утро.
Но века — это миг.
Я провижу дороги судьбы:
Все они превзойдут.
Все в них будет: и жалость, и мудрость...
Но тогда,
как меня,
их растопчут другие рабы.
За чужие грехи
и чужое отсутствие меры,
Все опять низводя до себя,
дух свободы кляня:
Против старой Любви,
ради новой немислимой Веры,
Ради нового рабства...
Тогда вы поймае меня.
Как хотелось мне жить,
хоть о жизни давно отгрустили,
Как я смысла искал,
как я верил в людей до поры...
Я последний язычник
среди христиан Византии.
Я отнюдь не последний,
кто видит,
как гибнут миры.

1970





Владимир КРУПИН

Продолжение. Начало в № 4, 5, 6, 7 за 2018 год

РАССКАЗЫ

Рисунок Марины Медведевой

МЕНЯ НЕ ПУСТИЛИ В ЦЕРКОВЬ

Да, именно так. Не пустили. И кто? Русские солдаты. И когда? В День Победы. Заранее собирался пойти на раннюю литургию девятого мая. Встал, умылся, взял написанные женой записочки о здравии и упокоении, еще приписал: «И о всех за Отечество павших» и пошел. А живем мы в начале Тверской, напротив Центрального телеграфа. И надо перейти улицу. Времени было половина седьмого. Вся улица была заставлена щитами ограждения. За ограждением стояла уже боевая техника: современные танки, также и танки времен войны. Рев их моторов мы слышали все последние недели на репетициях парада. Я подошел к разрыву в ограждении. Но меня через него к подземному переходу не пустили. «Я в церковь иду». — «Нельзя!» — «Но я же в церковь, я тут живу, вот паспорт». — «После парада откроют». — «Милые, еще до парада почти четыре часа». — «Отойдите».

Вот так. Сунулся к переходу у Моссовета — закрыто. К Пушкинской — бесполезно. Вот такие дела. И смотреть на всю эту боевую мощь не захотелось. Меня же не пустили, когда я шел молиться, в том числе и за воинов нынешних.

— Вы что, не православные?

— Приказ — не пускать!

Такие дела. Конечно, я вернулся. А все ж горько было. Конечно, плохой я молитвенник, грешный человек. Но вдруг да именно моя молитва была нужна нашей славной Российской армии?

Вот так вот. И смотрел парад по телевизору. Человек в штатском, без головного убора, называемый министром обороны, объехал выстроенные войска, ни разу им не козырнув, выслушав их троекратное «ура», подъехал к трибуне и доложил об их к параду готовности главнокомандующему, тоже в штатском, тоже обошедшему без отдания чести, ибо, как нас учили в армии, «к пустой голове руку не прикладывают».

Грянул парад. Дикторы особенно любовно отмечали в комментариях марширующих иностранцев. Потом проревела техника. А потом, прямо над крышами, понеслись самолеты. Некоторые неимоверной величины. Диктор сказал, что если бы они еще снизились на десять метров, то все бы стекла в окнах и витринах вылетели.

Потом горечь прошла. Цветы, ордена, дети, музыка. Что ж, значит, не заслужил я великой чести помолиться о живых и павших в храме. Встали с женой перед иконами в доме и прочли свои записочки. И пошли на улицу, и ощутили, что Победа 45-го достигла и до нас.

ХРИЗАНТЕМЫ В СНЕГУ

У меня в квартире был пожар, и в нем сгорели все рукописи. Со временем мне стало их не жалко, но вот как вспомню три сгоревшие картины великого художника нашего времени Алексея Козлова, так даже

стон из груди вырывается. Место на стене, где они помещались, заняли другие картины, но разве может что-то заменить те три полотна. Это «Хризантемы в снегу», «Иван-чай» и просто «Хризантемы».

ЗАСИЛЬЕ ВЕЩЕЙ

Конечно, от людей устаешь, хоть и стыдно в этом признаться, но от вещей устаешь еще больше. Вещи, казалось бы, твари бездушные, а заполняют все пространство вокруг и начинают навязывать свои правила: требуют внимания, обновления, диктуют даже стиль поведения. Есть холодильник, вроде и работает, но начинает тарыхтеть: давай замену, давай новый. Чайник фыркает: ты что, не видишь рекламу, какие сейчас новые марки? Машина прямо кричит водителю: смени меня, не позорься. Да на какие шиши я тебя сменяю? А укради, а схимичь, а извернись. О, вещи — наши командиры. Закабалившие общество внешними правилами, они посягают и на душу. Вещи же — это все преходящее, мы будто забыли правило, что, угождая плоти, вредишь душе.

Осмелюсь сделать вывод, что материальный мир одухотворен не только присутствием в мире человека, он и сам по себе является мыслящим.

Начнем с деревьев и растений. Когда уборщица Александра Федоровна уходила в отпуск, цветы в учреждении начинали чахнуть. Хотя их и поливали. А когда надолго заболела — все посохли. То есть тосковали по ней.

Деревья помнят обиды. Кактусы умудряются придавать колючкам невесомость пушинок, и колючки эти успешно садятся на того, кого кактусы невзлюбили. А ранки от них весьма болезненны.

Но что деревья, что растения! Мама моя любые вещи одухотворяла и говорила с ними. Стакану, например: «Что ж ты такой грязнуля и мыться не просишься?» Или приехала ко мне в Никольское, хочет подмести и спрашивает: «Где тут у тебя веник живет?» Не может без работы, села, что-то штопает. «Где у тебя ножницы, не бегают от тебя? У меня такие были лодыри. Как ни примечаешь, куда кладешь, все равно сбегут. Не хотят работать, и все. А вот были ножницы, овец стригла, те — труженики. Остригу осенью овец, повешу на гвоздик — и висят до следующей осени. А эти, комнатные, — такая неработь. Так однажды и сбежали совсем».

Или еще. Жена недавно потеряла лопаточку садовую, такую в виде совочка. Удобная, привыкла к ней. Любила ее и вдруг потеряла. Переживала, искала. Все мы искали. Нет и нет. Что делать, купили новую, похо-

жую. И что? И в тот же день прежняя нашлась. Значит, заревновала к замене, захотела еще послужить.

А вот градусник. Был у меня в деревне многие годы простенький такой, но точный. И чего бы, казалось, еще надо. Нет, увидел в магазине, сам он в глаза бросился, такой нарядный, четкий. Прямо не градусник, а целый термометр. Подумал, пусть будут два.

Принес домой, подцепил на гвоздик, стал сравнивать показания. Гляжу, а заслуженный мой прежний вышел из строя. Ртуть в стеклянной трубочке распалась на кусочки, расплзлась по делениям. Верхние дольки заползли даже выше шкалы. Что это? А предал старого друга, вот что. Он и обиделся. Столько лет служил, ждал моих приездов, даже и ни для кого, даже и ночью темной показывал температуру, и вот — награда. Каково это — быть на стене рядом с таким красавцем. Красавец этот, кстати, вскоре стал входить в противоречия с прогнозами погоды. Но так как и они врут, пришлось смириться.

Но финал у истории с градусниками счастливый. Я недолго терпел вранье нового термометра, выбросил его. Как-то и без них живут, и я все детство жил. В окно глянешь, на двор выскочишь, вот тебе и температура. Да, выбросил. Подошел к старому извиниться перед ним, а он, он работает!

И чего удивляться? Вспомним Писание, засохшую смоковницу, например. Удивились ученики, а Спаситель им: «Истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, то сбудется по словам его». И случай с апостолом Павлом. Ведь уже шел, шел по воде, «аки посуху», но испугался. И «почто усумнился?»

У Господа не только мы живы, но и вся природа, сотворенная Им. Выражение «неживая природа» неверно. Вот я — человек — венец творения, и вот я спотыкаюсь именно об этот камень, а не о другой, и что думает камень обо мне? Сейчас из камней научились извлекать кислород, вроде бы великое открытие, но камень о кислороде в себе всегда знал. Что ж не намекнул даже? Но камень и помыслить не мог, что венец творения мог чего-то не знать.

ПУШКИНА НЕ ПЕРЕКРЕСТИТЬ

Когда много лилипотов вешается на великана, то дело плохо для великана. Вспомним Гулливера — вынудили его лилипуты кланяться лилипутским поряд-

кам. Но он-то жив был и смог спастись. А как с теми, кто ушел в лучший мир и в здешнем уже не может себя защитить?

В применении в Пушкину лилипутами я называю истолкователей его творчества. И особенно тех, кто по своему разумению, а чаще по велению времени изображал великого поэта. И не своему даже мнению, а в угоду кому-то или чему-то. К таким лилипутам я отношу авторов книги «России первая любовь». Она заслуживает подробного разбора, но, не имея на то времени, приведу хотя бы какие-то примеры, показывающие прежде всего ничтожность попыток авторов загнать Пушкина в социальные, идеологические рамки и заодно очернить Россию.

По порядку. Начинается с Тынянова, с его исследования о Ганнибалах и роде Пушкиных. Так, первая жена (далее цитата): «...абиссинца-арапа, гречанка, не хотела выходить за него замуж. И он в скором времени замучил ее. Темная кровь осталась в губах, в крыльях носа, в выпуклом лбу, похожем на абиссинские башни, и еще криком, шуткой, озорством, пляской, песней, гневом, веселостью, русскими крепостными харемами, свирепостью, убийством и любовью, которая похожа на полное человеческое безумство, — так пошло русское ганнибалство, веселое, свирепое...», думаю, хватит цитаты. Это все Тынянов ведет к тому, «что и само русское дворянство было и шведским, и абиссинским, и немецким, и датским... Дворянство задумало и построило национальное великорусское государство из великорусов, поляков, калмыков, шведов, итальянцев и датчан». Дворянство России, по Тынянову, «блюло местничество, шарило в постелях». Главная цель Тынянова, другой не вижу, — обгадить «неустойчивый род дворян Пушкиных». «Отцы были женоубийцы, дети стали пустодомы». Пушкин, «минувя востроногого сластолюбца-отца и брюхастого лепетуна (поэта!) дядю, у которого были только карманные долги, — он выбирает свою родословную». Нет, не хочется больше цитировать. В конце статьи Тынянов старательно обгадит и жену, и потомков поэта.

Павел Антокольский живописует поэта в Болдино. Размышляет поэт о том, как «миллионы рабов подпирают империю, а вдруг и шатнут колонны: что тогда?». Свершил верховую прогулку, «едва заметил, что у плетня стояли мужики. Они глядели на приезжего барина угрюмо и растерянно... напоминали не то леших, не то фавнов. Это были его рабы». Навещает опального Пушкина арзамасский священник. Кушают. Подает «миску дымящихся пельменей все та же Арина, на этот раз принаряженная, в цветном сарафане, в татарских туфельках, шитых бисером, в бусах... священник... тут же трижды поцеловал девушкины заалевшие щеки. Совершив нехитрое это дело, он снова захохотал...». По-

трапезничали. Благородный Пушкин «шагу не сделал, чтоб его проводить, медленно пошел к себе, в чем был, повалился на диван, лицом в подушку. Откуда только слетаетесь вы, зловещие вороны в рясах и вицмундирах, соглядатаи, наушники, иудино племя?». Приходит позднее «Арина, чтоб постелить ему на диване».

Но дальше уже совсем! На смену батюшке и Арина является император. Живописуется так: «На дворе болдинской усадьбы у коновязи замешкался Медный всадник. Приторачивал (!) запаренного, жарко пышущего скакуна». Но сам всадник не спешит, попыхивает голландской трубочкой, «поплеывает на блеклую бурую траву». Далее встреча. «Александр Сергеевич, что у тебя в бочке плещется, уж не брага ли?» — «Да нет, квас. Только боюсь, не протух ли, не угрожу». — «Пушай протух. Мне бы только губы смочить, глотку сполосну. Знаешь, я ведь нынче трезвенник». Поэт не верит: «Ой ли? Не жалуешь анисовой в бессмертье, Петр Алексеевич?» — «Куда там анисовая или перцовая, когда пожар в груди. Внутри себя ношу свой ад. Это, брат, не шутка».

Далее все такой же бред.

Очень горько и за Гейченко. Так много сделавший для Михайловского, фронтовик, он совсем, оказывается, был темен. Пушкин в его рассказе везет тело матери, томится тем, что служат по дороге панихиды. В Святых Горах Пасха, все пьяны. Стучит в монастырские двери, еле сдерживает себя, чтобы «не заехать в заспанную рожу» привратника. Пожалеем старика Семена, не будем пересказывать далее.

В конце концов, можно и поплевать на эти блеклые строчки, но ведь они ушли в среду читателей, они действуют. Вся эта несусветность издавалась многотысячными тиражами. А люди доверчивы. И эту их христианскую доверчивость используют такие авторы. И ведь, уверен, все крещеные. И ведь не по глупости писали, сознательно.

Ладно, Бог всем судья.

А особенно обидно за Паустовского. Писатель отрочества, юности, наряду с Грином. Как читали! А и он тут, голос из хора, порочащий священство, царя, Пушкина, то есть Россию. И его, жалея, не буду много цитировать. Как плетется священник в соломенной шляпе ловить уклеек, как, опять же поплевав на ладони, плотники говорят о нем: «Куда только их сила подевалася, и где теперича их шелка-бархата?»

Неужели такими текстами спасались? Показывали лояльность, готовность обгадить все и вся, чтобы угодить духу времени?

Не знаю. Не знаю и не сужу. Но за Пушкина горько. Хотя ему самому от всех таких писак не холодно и не жарко. Он — Пушкин, вот и все.

КАК САМ СЕБЯ НАКАЗАЛ

У меня долго не было первой книги. Очень я этим мучился. Еще бы, никем, кроме писателя, быть не хотел, писал с десяти лет, печатался с пятнадцати, до армии в газете работал, в армии и в институте всюю писал, а книги нет и нет. Уже и сценаристом побывал, уже и телепесы шли, в нескольких журналах был своим, и рукопись давно составил, а книга все отодвигалась.

В издательстве было правило — включать рукопись в план издания только при наличии двух положительных рецензий. У меня они были, было даже предисловие, написанное прозаиком Владимиром Тендряковым, — честь немалая. Но все-таки что-то не продвигалась книга, вязла. Иногда я осмеливался напомнить о себе редактору. Он успокаивал, но выходил очередной перспективный план, а в нем опять же моей фамилии не было. Наконец, редактор сообщил мнение начальства — послать рукопись еще на одну рецензию. Веселого в этом было мало, но что спорить с начальством? Редактор не скрыл, что велели послать критику Олегу Михайлову. «А он режет всех подряд. Кому-то, видно, хочется тебя утопить».

Но такое решение меня не убило. Даже и хорошо, если прочтет критик такого уровня, как Михайлов. Послали рукопись ему. Потянулось очередное время. Пока-то рукопись по почте до него дойдет, пока-то он прочтет, пока-то рецензию напишет. Сколько ждать? Ждал месяц, ждал два, три ждал. Звоню редактору. «Я ему вчера напоминал, он прочел, говорит: понравилось, говорит, что сейчас сильно занят, репетирует пьесу в Ермоловском. А ты сам ему позвони. Не говори, что я телефон дал».

Вот такая была секретность. Робею, но звоню. Это ведь еще и дозвониться надо. Дозвонился.

— Кто, кто? Какая рукопись? — спрашивал критик. Наконец, вспомнил. Даже нашел. Слышно было — папка хлопнулась на стол. После молчания утешающие слова: — Да, давно лежит, да, пора. Я тут из нее читанул что-то. Неплохо, неплохо. — Я даже ощущал, как он скользит глазами по наугад выбранной странице. — Ну-к что ж, на днях намолочу, отошлю.

— Ой, Олег Николаевич, это и долго, и хлопотно. Я приеду, возьму, отвезу.

— Совсем, батенька, отлично. Позвоните через... недельку-другую.

Ясно далее, что звонки были бесполезны, он всегда был занят, «в затыке», «на прогоне», «конференция в ИМЛИ, доклад» и всякое такое. Мне уже и звонить было стыдно, но в издательстве верстали план очеред-

ного, послебудущего года. Да и сам Михайлов чувствовал, что затягивает. Однажды сказал:

— Вы можете тогда-то подскочить к Ермоловскому?

Я подскочил. Олег Николаевич достал из портфеля мою рукопись. Но рецензии при ней... не было.

— Слушай, — хладнокровно сказал он, — некогда мне читать. Ты же лучше знаешь свою рукопись, напиши рецензию сам. За моей подписью. Смело рекомендуй. Давай! Ну, конечно, не захлеб хвали, сделай там для виду пару замечаний. Позвони, как будет готова.

— Завтра будет готова!

— Что ж, на том же месте, в тот же час!

Через сутки, у Ермоловского, Олег Николаевич, не читая, что там написано за его подписью, подмахнул рецензию, и я понесся с нею в издательство.

А дальше? А дальше... мою рукопись снова не включили в планы. Ужас! Почему?

— Начальство сказала, — огорчался вместе со мной редактор, — что в рецензии говорится: рукопись нуждается в доработке.

— Но какая же не нуждается? Он же рекомендует!

— После доработки. Видишь — написано: после доработки. И приказали после доработки снова послать ему на отзыв.

— Но ты-то знаешь, что я сам писал эту рецензию.

— Вот и не надо было себя так ругать.

Виной всему было то, что я, собиравшийся и без редакторов и рецензентов что-то в рукописи доделать, что-то убрать, что-то добавить (я же не сидел без дела эти изнурительные месяцы ожиданий), эти свои задумки по улучшению рукописи и изложил. Видимо, перестарался.

Олег Николаевич хохотал:

— Ты потом, как книга выйдет, переделай рецензию в статью, и мы ее где-нибудь тиснем.

Ему смех, а мне было какво? Еще на год отодвинулась моя первая книжечка. А впереди были десятки замечаний, сотни придинок, ожидание чистых листов из цензуры. Все делалось будто специально, чтобы убить радость от появления первой книги. И вышла она, когда мне было тридцать три годика.

Но была радость, была! Вышла книга весной. Печатали в Белоруссии, и я сам ездил получать сигнальный экземпляр. А потом, уже на Курском, видел, как ее купили с лотка. Купили мама с дочкой. И не положили в сумку, а понесли в руках.

А с Олегом мы не то чтобы подружились, но при случайных встречах были рады друг другу. И мне он сказал то, что говорил десяткам других:

— Леонов пишет венозной кровью, а Шолохов артериальной.

Оба тогда были еще живы.

Книга моя называлась «Зерна». Видимо, от этого значительную часть тиража привезли в магазин «Урожай» на Садовом кольце. В отдел «Хранение и переработка зерна». Вначале это даже обидело, а потом оказалось очень удобным. В других местах книга исчезла, но я всегда знал, что «Урожай» не подведет.

Теперь этого магазина нет. Жаль. Может быть, в память о нем одну из книг назвать «Урожай». Зерна

первой книги тогда были засеяны, на каких обочинах, среди каких сорняков колосились они? Колосились ли? В какие закрома попали, кого насытили? И кому эти вопросы? Себе, конечно. Но чего-то вдруг это я умничаю? Или, наоборот, глупею.

А Михайлов — загадка. Пьет без передышки десятилетиями, оставаясь при этом ясно мыслящим, много работающим. Книги выходят, на телевидении выступает. Веселый, ироничный. В теннис играет.

Леонова и Шолохова уже похоронили.

БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА

Березовая кора, белая береста, конечно, не может состязаться в долговечности с глиняными дощечками, с иероглифами на камнях. Но когда береста попадает в благоприятные условия, то хранится веками и однажды всплывает из прошлого и являет миру свои письмена.

Новгородские берестяные грамоты показывают, что грамотность в Древней Руси была повсеместной. Вот договоренность о привозе таких-то товаров к такому-то сроку, вот наказ жены мужу привезти из города то-то и то-то. Вот мальчик, обидевшись на отца, пишет ему: «Хорошо же ты сделал, что не взял меня, а обещал».

Но более всего поразила меня и довела до слез самая короткая берестяная грамотка. Всего четыре слова. Письмо от юноши к девушке. Вот оно:

«Павел Марии. Пойди за меня».

И это все. От Павла Марии: пойдя за меня. Пойди за меня, Мария. Здесь такая высокая чистая нота любви и

целомудрия, до какой нам тянуться и тянуться.

О, как любил Павел Марию, как робел признаться в любви. Как высмотрел стройную березу, ходил к ней. Однажды пришел с ножом, аккуратно снял квадратик верхнего слоя, сушил этот квадратик меж гладких дощечек, придавив их камнем, как гладил сильной ладонью поверхность, и вот, оставшись один дома, взял у божницы железное писало и вырезал:

«ПАВЕЛ МАРИИ. ПОЙДИ ЗА МЕНЯ».

Как он волновался, когда завернул послание в чистую холщовую тряпицу и послал младшего братишку к Марии.

Братишка понял своим сердечком, что ему поручено что-то огромное в судьбе его старшего брата, бросил все свои дела и помчался по улице деревни к дому Марии.

И все бежит и бежит. «Мария, пойдя за меня. Павел».

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Восьмидесятые. Павелецкий вокзал. Уличная пивная. Подошел молодой мужчина в телогрейке. Озирается:

— Тут можно постоять?

— А почему нельзя?

— Кто знает. Боюсь. Я, между нами говоря, неделю только как со срока. Оттянул три года. Три года за ведро яблок. — Оглянулся пугливо, достал четвертинку: — Будете? Нет? Не самопальная. — Отпил, глубоко вздохнул и закурил. — Хоть отдохну.

— Как же так, за ведро яблок?

— Как? Да так. Я сам с Липецкой области. Как пошел этот бардак, как стали коммунисты задницу доллару лизать, все захирело, сады побросали, дичают. Мы с парнями прошли по полосе, собрали паданцев, вынесли

на дорогу, хоть на бутылку продадим. Тут «бобик» милицейский, зондер-команда.

— Откуда яблоки?

Мы по дурости честно:

— С полосы.

— Залезай, садись.

И опять, дураки, сели. И чего сели? Привезли. «Ну, всех оформлять не будем, бери кто-нибудь на себя». Я и высунулся: «Пишите на меня». Записали, отпустили. Через месяц повестка: суд. Ни хрена себе заявочка. Это ж паданцы, яблоки-то, полоса ничейная. Там и адвокат. «Что ж мне шьют-то?» Он, будто и никто, пришел посидеть, морда утюгом, в зубах ковыряется. «Принеси справку, что яблоки ничьи». А кто мне такую справку даст? Уже ни сель-



совета, ни колхоза. Так и заткнули на три года. Будто опять в армии отслужил. Только кормежка хуже. Сечка и картошка. У кого родственники — легче. Передачу притаранят, охранники сумки перетрясут, что получше — себе, но что-то же и оставят. Еще кому-то нужному сунут, тому-другому, отряднику, конечно, и живут. А туберкулез там гуляет! Я на вас кашлять не буду. — Он опять немного отпил. — Выпустили, а куда идти? Кантуюсь тут. Прошу денег, но на билет же все равно не собрать, хоть на пузырек нацыганю, и то. Да и к кому я туда приеду? Родители умерли, дом заняли чужие, меня выписали. Иди, докажи. А что ээк докажет? Мне сейчас главное — к ночи напиться, меня и заберут в ментовку. Хоть отосплюсь. Напинают, конечно. Да ничего, дело привычное. Обшарят, а чего у меня красть? Боюсь, что и забирать не будут. Вывезут на свалку и пристрелят.

— Да ты что?

— А ты не знал? Ну, наивняк. — Мужчина еще отпил. — Так-то я даже и рисовал, и в художественное хотел поступать. Нет бумажки?

Бумажка нашлась. Мужчина ловко извлек из телогрейки карандаш и быстро начертил довольно сложный узор.

— Не понял, чего?

— Орнамент какой?

— Кельтская тематика. Для татуировки. Этим и рабатьывал. Может, и тут кого найду, ты не знаешь мастеров?

— Но это же дикость, это ж для дикарей, для уголовников.

— Я и есть уголовник. А дикарей среди пацанвы через одного.

— Что, и у тебя есть татуировка? — Я посмотрел на его руки — чистые, без следов иглы.

— Немножко. Показать? — Он снял телогрейку с одного плеча, закатал клетчатую рубашу. У локтя открылась татуировка — красивая девичья головка. — Я любил одну. Вот.

— И поезжай к ней.

Мужчина засунул руку в рукав.

— Нет, — он тяжело вздохнул, — тут не проханже, шансов нет.

— Замуж вышла?

— Да хоть и не вышла. Я ж не гад какой, человека делать несчастным. Я ж пью.

Тут и я вздохнул.

— Иди в церковь. В сторожа. Двор подметать.

— Думал уже, думал. У нас и батюшка в зону приходил. Утешал. Верили, молились. Молились, а как же, на свободу рвались. Бог помог, вышли и про Бога забыли. Ну, пойду я в сторожа, а как выпью, да что сворую?

— Тебя как зовут?

— Дима. Кликуха Димон.

— Чего тебе советовать? Крещеный?

— А ты как думал? Я же русский. В том и дело, что русский, а нас за людей не считают.

— Но ты сам-то себя считаешь человеком?

— Я-то считаю, а всякая сволота на нас тянет.

— Что тебе до них? И не Димон ты, а Митя.

Он достал изнутри телогрейки пузырек, взболтнул.

— Ну, чего, давай прощаться. — Я протянул руку.

— Спасибо, хоть поговорили, — сказал он. — Может, когда и встретимся?

— Может, и встретимся.

— Анекдот хочешь на прощанье? Как мента хоронили?

— Как?

— Три раза на бис.

Нет, не встретились мы больше. И никакой сюжетной закругленности не получается. Да тут и никакая не литература. Пропал ты, Митя? А вдруг жив?

ПОСЛЕДНИЙ ДОМ

К моей жизни очень подходит пословица «Дали белке орехи, когда зубы выпали». То есть все приходило ко мне очень поздно. Все прошел: казармы, общежития, коммуналки, глухое непечатание, постоянное безденежье. Теща литровую банку борща приносила и с состраданием смотрела на дочь. А дочь, моя жена, учительница, прятала от учеников ноги в худой обуви под учительский стол. Конечно, стыдно было перед ней, ведь часто изо всего человечества только она и верила в меня. Но позднее признание для писателя даже спасительно. Появились бы деньги, слава, привели бы гордыню. А так: всегда бедствовал. Но как-то же выкарабкались. Даже и не успев заметить ход жизни, я стал надеяться на спокойную старость. Мечтал, что мемуарный возраст будет спокоен и длителен. Буду сидеть у камина, вспоминать. Есть что и есть кого вспомнить. Жена будет в оренбургской шерстяной шали на плечах сидеть под зеленым абажуром, вязать мне носки. Буду читать ей вслух... Чем плохо? Ведь заслужили?

И вот — дожили до демократии, и — не один я такой — унизительно и постоянно думаю, где взять какую копейку и какую прежде заткнуть дыру.

А так сейчас, внешне, очень благополучен: квартира, дача, полдомика в ближнем Подмоскowie, пристанище на родине в доме детства и юности. Куда с добром! Но как же поздно все это пришло! Всегда блага жизненные обходили меня за версту. Дача и то не моя — аренда в Переделкино появилась в шестьдесят лет. Да ведь я своими книгами и переводами на иностранные языки своих книг сто раз заработал эту аренду. А этот полдомик в Никольском, стиснутый заборами кладбища и соседей, тоже сумел купить, когда голова вся была седой. И в дом на родине, где прошло детство, отрочество, юность, откуда ушел в армию, вернулся, когда въехал в старость.

И нигде в этих домах, не говоря о московской квартире, нет мне покоя. Никакого. Все время что-то кому-то должен. Может, это налог какой? Должен приехать, выступить, должен написать статью, предисловие, послесловие, ответить на постоянные письма и бандероли, позвонить туда-то, тому-то, попросить кого-то за того-то. А иначе сколько обид. Жена родная, и та: ты православный человек, должен помогать. А писать кто за меня будет? Тут следует убийственный ответ: хватит, ты уже много написал. Да я еще ничего не написал, только-только начинаю понимать, как надо шевелить пером.

Сил нет, здоровье уходит. И это все естественно, и не ропщу, но сказал же духовник: «Преподавать за тебя смогут, писать ты должен сам». Должен-то должен, а что напишу? Но это опять интеллигентское слюняйство.

Во всех домах у меня есть все, что надо для трудов и молитвы. Везде красные углы с иконами и лампы, запасы свечей и подсвечники, везде молитвословы и много духовной литературы. Творения святых отцов. И везде ноутбуки. А когда-то таскал за собой тяжеленную машинку. На столах пачки первосортной бумаги, везде сплошные «паркеры», только пиши. Все есть, времени нет. А нет — сам виноват. Все старался для всех хорошим быть, а надо было прежде себя и близких спасать. Сколько же на меня вешали свои проблемы, но так мне и надо. Уж хотя бы зачлось.

Да, только живи в любом из домов. И везде достают. Вроде даже и какое-то самолюбование можно усмотреть — какой я знаменитый да незаменимый. И ведь отказываюсь от девяти приглашений из десяти, все равно. Раньше сам лез на все трибуны, сплошная комсомольская пассионарность. Как это, куда-то не пригласили, как это не дали выступить, как это не упомянули. Сей-

час: лишь бы куда не звали, лишь бы не выступать, не писать, не встречаться. Каждая встреча отягощает последующими обязательствами. Просят прочесть рукопись. «Но у меня же теперь ни журнала, ни издательства». Не прошибает. «Вы только скажите свое мнение». О-хо-хо. Говоришь о недостатках, звонят через неделю: «Я все исправил, посмотрите. Вам же теперь не надо все читать». Если понравилось — еще хуже. «Можно я в редакции скажу, что вы читали?». Через день: «Они говорят, что напечатают, если вы напишете предисловие».

Такие жалобы турка. Но, усталый раб, и я замыслил кое-что. Созидается в вятских просторах, на высококом берегу родной реки, под тополями и березами, избушечка! Кельечка такая. Господи, помоги, чтоб сбылось пожить в ней, помолиться и поработать во славу Божию!

Не надо мне ни палат каменных, ни камней самоцветных, ни кушаний заморских, ни одежд многоцветных, хватит мне избушки с русской печкой, с красным иконным углом, перед которым горит алая лампада. Хватит мне подполья, в котором картошка, и капуста, и банка меда. Да коробка с чаем стоит на полочке над плитой. Вот такого я и душа моя чаем. Маленький стол, много хороших книг, которые можно брать наугад и открывать на тех страницах, которые сами откроются.

Да-а. Прибьются ко мне пес с котом. Кот будет лежать в ногах на деревянной постели, зимой громко мурлыкать и просить, чтобы я пустил пса погреться. Конечно, это естественно, да он уже и сам тут, у порога. Яростно чешется, а ночью взвизгивает во сне. Кот будет хорошо ко мне относиться, только жалеть, что я плохой рыбак, никак не накормлю его свежей рыбкой.

Дров у нас будет запасено много. Это все будут бывшие березы и ели, которые выросли на месте бывшей церкви и их надо спилить, чтобы было место для ее возрождения.

НИНА ХАРИТОНОВНА

В магазине у нас меняются смены, а Нина Харитоновна, когда ни приди, все на посту. Дежурит у входа, моет полы, взвешивает овощи. Раз спросил, почему она такая бессменная.

— А как? Дети-внуки есть, деньги нужны. Идешь: чего ты нам, бабушка, принесла? И самой охота их чем порадовать. А один оклад уборщицы, куда с ним? Да муж весь больной, да сама! Да самой-то нельзя свалиться, все пропадут. Держусь. Вот каждый день с девяти до девяти и без выходных.

Иногда присядет и читает газету. Громко говорит:

— Девки, чего пишут — в колбасе мяса тридцать процентов.

Еще у меня будет евангельская окрестность. Река наша — прямо Иордан. А тут холм — гора Елеонская. Там, где родник (я знаю, где он был, я раскопаю), там поток Кедрона. Подальше, к востоку, — Фавор. К югу — любимый Вифлеем. Это все надо устроить. И ни у кого помощи не просить, только сил у Бога. Там, где подойдет место для Хеврона, тоже пониже по течению к югу, там надо посадить побольше дубов. И из желудей, под зиму, в хорошую землю, и натаскать молоденьких дубочков.

Будут у меня и рябины, и черемухи, и смородины, и яблони. И буду с ними разговаривать. Еще, конечно, птицы. Кругом снесенные, уничтоженные, сожженные деревни, тоскливо на холодных развалинах птицам, вот и прилетят ко мне.

А главный мой гость — наш батюшка. Это именно он вывезет меня из города и привезет в эту избу. Уж как я ему буду рад, когда он приедет. Ни за что не отпущу в тот же день. Будем вместе долго пить чай, вспоминать будем многое-всякое, в основном радостное. Как церковь вернулась в село, как потянулись к ней. Жалеть будем Витю — работника с золотыми руками, да вот и с горлом тоже золотым. Опять, опять сорвался. Будем и за него молиться, когда перед сном встанем на вечернее правило. Золотыми лепесточками будут трепетать вершинки горящих свечек.

Разойдемся для сна. Батюшка, всегда измученный и уставший, уснет быстро, а я буду лежать и глядеть в окно, на которое все никак не заведем шторы. За ним еще одно окно, в стеклах двойное отражение луны. И видны ветви деревьев, и звезды на них как игрушки. И если ветви шевелятся, значит ветер. Если луна увеличивается — к холодам, уменьшается — к оттепели. Если потрескивает сруб — тоже к морозу. А все, вместе взятое, — к весне, к Пасхе.

Девки, хохотушки Аля и Рита, прыскают:

— А ты только что узнала?

Они фасовщицы, то есть раскладывают то-вары. Тоже сидеть некогда. Но обе курят и высказывают курить на крыльцо. Говорят о том, как бросить курить, и о пьяных парнях, проходящих потрепаться с кассиршами. Нина Харитоновна постоянно ругает Алю и Риту за курение.

— Вы свои груди изнутри представьте. Ведь чернота. Аля и Рита снова хохочут.

— Чего ржете-то?

— Так представили.

«И ЕЩЕ БУДУ РОДИТЬСЯ»

Стою в родном селе у родильного дома. Вот именно здесь я появился на белый свет. Дом сохранился, хотя уже совсем-совсем старенький. Помню, мама рассказывала, как мы с ней шли к реке, к парому, и она сказала: «Вот здесь ты родился. А ты, до чего мне это дивно было, ты говоришь: “Я здесь родился и еще буду родиться!”».

Постоял я около дома и осмелился войти. Поздоровался с дежурной сестрой, женщиной в годах. В коридоре красят стены два парня в колпаках, сделанных из газет.

— Ремонт?

— Да хоть немного подмазаться. Их военкомат положил на обследование, а так-то они здоровые, чего им?

— Ну как, обрадовали сегодня страну пополнением?

— Обрадовали. Татарка родила, да узбеченок родился.

— Дед, — уважительно обратились парни, — на сигареты не поможешь?

— Пойдем.

Пошли с одним из парней. Бумажный колпак он бросил под ноги и отопнул.

— В армию, значит?

— А чего тут дождусь? Сопьешься или статья.

— А статья почему?

— Дак как? Выпил — надо продолжать. А на что?

— И в армии можно спиться.

— Там-то все-таки. — В свою очередь и он поинтересовался: — А вы зачем в роддом пришли? Внучка на сохранении? Это ваша, такая молодая, красивая, все ревет? Ваша?

— Нет, я сам тут родился.

Парень посмотрел на меня как на ожившего мамонта.

— Так это значит, наш роддом такой капитальный? Да-а. Круто! Я ж тоже тут выскочил. Надо же! Я думал — у тебя внучка на сохранении. Надо же! Ну, дед, ты сигаретами не отделаешься.

— Мне и сигареты-то тебе неохота покупать, а тебе еще и вино. Давай лучше куплю коробку конфет, отнесешь этой девушке.

Парень задумался.

— Ну а что? А давай! А что? Я уж заговаривал, дичится. Сестра сказала, что сволочуга тут мелькнул, охмурил, она и поверила. Так-то она мне нравится.

— Жалко ее, — сказал я, — она, думаю, хорошая. Видишь, на замужество не надеется, а аборт не стала делать. Хорошая будет мать. А подлецу за нее Бог отомстит.

— Да-а. — Парень поскреб в затылке. — А давай и коробку и... а?

— Нет, — решительно отказался я.

Мы уже подошли к магазину. В витрине парень разглядывал красивую коробку конфет.

— Главное, что отечественные, — одобрил я выбор парня.

— Но сигарет ты тоже все ж таки купи, — попросил парень. — Я же не могу таким рывком, как в сказке. И не пить, и не курить, да еще и жениться. Буду курить и думать.

Мы простились. Он пошел к роддому. Я шел-шел и оглянулся. Гляжу, и он тоже.

ПРИЕМНИК

Хожу по дому, тычусь во все углы, ищу приемник. Легко ли, уж два часа без музыки, без радио «Орфей».

И три, и четыре часа прошло. Жил как потерянный. Только что-то читал да чай пил. Наконец нашел. Лежал он себе под книгами на подоконнике. Включил, и что? И ничего. Видимо, все вызвучало, вылилось, пока искал, остался мне ширпотреб разговоров о музыке, а не сама музыка.

Но надо приемничек похвалить за качество звучания и вообще за крепость. Как он, крохот-

ный такой, терпит 90 градусов жары в бане, да как неделями, оставшись без меня, упавши под кровать, играет и играет. Вот, правда, в выборе репертуара очень неразборчив. Что ему Свиридов, что кто другой. Но тут уж я очень многого захотел. Чтоб приемник еще и отфильтровывал пошлость от подлинного.

Нет, все-таки перестали говорить. Музыка зазвучала. Да еще и Гендель. Да еще и «Глория. Аллилуйя». Ничего, жить можно.

ОПЯТЬ ЭТО КВАКАНЬЕ

Лучше бы не включать телевизор, спал бы спокойнее. Нет, позвонили: смотрите, смотрите обязательно

но. А это была передача о Нобелевской премии. Стал смотреть. Набор говорящих обычный, то есть сильно

облиберальный. Ведущий — пишущий телециник, приглашенные — пишущие ценители любых процессов, и литературных, и политических. Конечно, прежнее давление на кнопки тоталитаризма, кагэбизма, сталинизма. Хоть бы кто подумал: сейчас-то, при свободе творить что угодно, что же ничего равного произведениям, созданным при советской власти? Нет и близко не видно. И мне усатый батька — не икона, но представить русскую литературу только в борьбе с режимом — даже уже не смешно, а дико. Была Россия, есть Россия, будет Россия — вот главное измерение. А кто ей на голову во все времена садился — дело другое. Вот вы уселись, например, на шею русской литературе и ножки свесили. Да так все умно вещают, да так уверенно.

И талдычат, вбивают в головы свои ориентиры. Лучшие из лучших у них, возьмем поэзию: Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева. «Да! Да! — кричит, будто кто ей тут возражает, перезрелая критикесса с юной прической. — Да! Это лучшие поэты двадцатого века».

Надо же. Прямо так? Для нее так, для меня иначе. Но что ей до меня, она мнение западников знает. А для меня главное — народное признание, оно безобманно. Запрещали Есенина, народ сохранил. Замалчивают Некрасова, народ не даст забыть. А Пастернак, что Пастернак? Средний поэт, раздутый до политического звучания. Прозаик очень слабый. Как и Окуджава. Почему честно не признать, Николай Заболоцкий на десять голов выше всей названной четверки.

УМЕЮТ ХОРОНИТЬ СВОИХ, УМЕЮТ

Вдруг из радио послышалось причитание знакомого голоса. Это же Борис Ефимович, одессит, предпологавшийся сменщик запойного Бориса. Что-то не сладилось у них, и остался Борис-младший без президентства. Но его либералы все равно берегли, как и других своих. Рассовывали по фондам, институтам, кормили, пасли на информационных полях. Так что же Борис Ефимович причитает? Оказывается, умер господин Гайдар. Сочувствую его горю и горю родных, только не понимаю, зачем при этом понадобилось, назвавши Гайдара «умнейшим, честнейшим, как отец и его дед», еще при этом поливать грязью Россию, в которой, цитата, «не умеют таких ценить, а ценят жестоких, циничных, подлецов, предателей». Лихо. Далее: «Сейчас они (кто?) заткнутся на пару дней», ну и про-

И всегда меня справедливо возмущает молчание о поэзии Александра Твардовского. Это специально, ибо либералам он нужен только как публикатор их якобы смелых антисоветских сочинений. Твардовский Солженицына вывел в оборот разговоров, а тот его так гадко описал потом в своем «Теленке». Ладно, Бог всем судья. Солженицын был нужен Никите Хрущеву, чтобы перевалить все репрессии на Сталина, вот и вся загадка появления и успеха «Одного дня». Конечно, у Твардовского «Никита Моргунок» неприятен по финалу: конь, которого ищет Никита, оказывается у бродячего попа, но надо судить по поэмам «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью даль», по стихам, таким как «Армейский сапожник», а они на такой вершине, что стиходелье с нее не видно. И как бы ни надрывались, с каким бы пафосом ни вещали участники передачи, все их «подзащитные» станут, словами Блока говоря, «достоянием доцента». И только.

Но они, эти участники, они — поделщики в совместном преступлении проталкивания на вершину русской поэзии не духовной, а головной литературы, разве признаются, что, например, Кузнецов, Рубцов, Горбовский, Сырнева, Кан, Чепурных, Гребнев, Костров, Красников, Скворцов, Иванов... поэты уровня не ниже Пастернака, Мандельштама, более даже народны, чем они. «Скрещенья ног» у них нет, что ж делать, но ощущение величия России, ее единственности, есть.

То есть и лексика, и ораторские приемы остаются у демократов даже на похоронах прежними, это хамство и наглость. И никак они не отступятся от прежних уверений, что именно реформы, загнавшие Россию в нищету и зависимость от капитала, в распущенность нравов, гибель образования, наркоманию, разврат, проституцию, что именно эти реформы спасли Россию. Как же их им не оправдывать, они же их делали, на них же наживались. Иначе же надо признаваться, что именно они убивали русскость в России. Гнули Россию под Чикаго. А что не по ним, то они быстро забывают. Например, то, что Союз правых сил был народом резко отринут еще на по за тех выборах.

Но что я о них? Будто не о чем другом говорить. Но липнут же!

«ЕЩЕ И ВСТАТЬ НАДО»

С детства тяга к записыванию всего, что видел и слышал, была во мне очень сильна. От этой болезни

меня исцеляли переезды, когда приходилось бросать блокноты и тетради, а также пожары. У меня рукописи

горят, и прекрасно горят. Со временем я стал бороться с желанием все записывать, ведь это только кажется, что происходящее сейчас будет важно и потом. Все смывается в черные дыры времени. Может быть, польза записей была в том, чтоб понять — все повторяется. Уж какие там развития по спирали, по кругу ходим, заглазываем все те же наживки. А если спираль и есть, то она выводит не вверх, а утаскивает вниз.

И как же я боролся с сим графоманским недугом? А просто, выходя из дому, не брал с собой ни ручек, ни карандаша, ни бумаги. Что-то встретится: ах, надо бы записать, да записать-то и нечем и не на чем. Ладно, вернусь домой, запишу. А вернулся — вроде и записывать нечего: измельчал случай, заслонился другими. А тут и благотворная усталость, тут и бумага осталась чистой. Даже и целую теорию в оправдание своей лени сочинил: если что-то помешало записи и она не вспоминается потом, то и не надо было записывать. То же и с замыслом. Возник замысел, хороший, нужный, а что-то мешает сесть и работать. Говоришь себе: не волнуйся, это во благо, идет проверка временем. Забудется замысел, так ему и надо, а если будет помниться, плакать где-то внутри, хочет, значит, выйти в люди. Еще что-то помешало — ничего, крепче будет. А уж если так и не смог выносить и родить, конечно, жаль! Так и будет плакать где-то в полумраке другой твоей жизни, несвершенной.

«Я СТАЛ ДОСТУПЕН УТЕШЕНЬЮ»

Ожидание радостей меня оставило, когда начал осознавать свою греховность. За что мне радости? Имею в виду не те, о которых говорят акафисты, начиная при прославлении святых мучеников каждую строку со слова «радуйся», а о радостях жизни. И это хорошо. Какая разница, осетрину ты ешь или кильки в томате, бархат на тебе или сатин, какая разница? Не все ли равно, сытым или голодным в гробу лежать. Да еще хорошо, если в гробу. А то свалят в общую яму, а то и вовсе не свалят.

Но одна невольная, и она же вольная, радость у меня осталась. Это птицы, животные и растения. И музыка. Приезжаю в Никольское и чай пить не сяду, пока цветы не полью и пока птицам еды не вынесу. И конечно, всегда голодной худющей соседской собаке Найде, которая, чуя меня, давно сидит на крыльце.

И какая же радость — пить чай, сидя у окна. На подоконнике растут цветы, и царица среди них Неопалимая купина с Синяя. Да, растет. Растет, слава Богу, по милости Его прижилась в наших температурах. По радио вариации на тему какого-нибудь Кончерто гроссе,

Сидел в больнице, по какому случаю, забыл, а помнится высокий седой человек. Ходил медленно по коридору. «Садитесь», — я подвинулся. Он остановился: «Сесть-то можно, но ведь надо будет вставать...» Так и ходил. Потом мы с ним стояли в очереди поставить печати на рецептах. Мужчина говорил мне уже как знакомому:

— Это ведь мы сейчас, — он, видимо, принимал меня за сверстника, — свое геройство лечим. Ведь как было? «Ура! Ура!» — И в ледяную воду! — Ура, и сутки лежишь в снегу. Ура, и по неделе есть нечего. И все за великое будущее. За победу.

— Мы же русские.

— То-то и есть, что русские. Служил я потом на дизельных подводных лодках. Когда их рассекретили, пришли американцы. Как на экскурсию. Не то что повернуться, протиснуться невозможно. Нет, они говорят, у нас бы никто ни за что тут служить бы не согласился. А мы считали за честь идти в подводники.

— И во всем так было. Во всем. А нынешние будут так же, а? — спросил я.

Мужчина развернулся ко мне и широко улыбнулся:

— Давай печати поставим, да пойдем на улицу, спросим.

— Давай.

Ну вот, запомнил этого мужчину, сразу не записал, потом он вспоминался и вот — записал. И что? А ничего. Хорошо, что не забыл хорошего человека.

ансамбль, например, Канта э вива, что означает живое звучание. Потом, в течение дня, обещаны и Бетховен, и Глинка, и Чайковский, и Свиридов, и Шуберт, и Гаврилин, Вторая венгерская Листа, а также вводящие их в атмосферу звучания Евгений Светланов, Клаудио Аббада, Герберт фон Караян, чего больше?

На рынке просил сала несоленого. И вынесли из подсобки длинную, толстую ленту, розовую с одной стороны. Вначале отрезал и подцепил на ветку яблоки один кусок. Потом, видя, так сказать, ажиотажный спрос, добавил еще кусок, и еще. Всего четыре. То-то отраднo — видеть, как птички припархивают, как ловко цепляются сбоку и снизу и тюкают клювиками. Небось ночью, где-то под крышей, нахохлившись от холода, спокойно все-таки чувствовать, как в животике живет и греет в морозную ночь полезная пища.

А вообще синицы вредные друг к другу. У людей, наверное, научились. Вот вроде висит четыре порядочных куса, долби знай, нет, надо вначале других отогнать. Особенно одна синичка. Конечно, это не она, а

он, я и назвал его Синец толстопузый. Такой сытенький экземпляр птичьего народа. И такой, о ком говорят: сам не гам и другим не дам. Сам не клюет, а всех разгоняет. Но интересно, что именно он подлетает к окну, укрепляется коготками за раму и тюкает в стекло. Вроде как докладывает, что рьяно охраняет мои корма.

Найда пасется под кормушкой. Рада и самой малости, падающей от трапезы птичек. В кормушку сыплю измельченные крошки хлеба или покупаю просо. Это для воробьев. Но и их Синец толстопузый гоняет. И опять подсказывает к окну для доклада.

Редкие медленные снежинки. Может быть, и солнышко даже покажется. Нет, день прошел, не соизволило. Хотя в утешение был такой нежно-малиновый закат. Но такой коротенький. Взглянул в окно — восхитился, отошел к плите, почистил пару картошек, покрошил, поставил сковородку на огонь, вернулся для возобновления любования — нету малиновой нежности. Да, видно крепко нынче виноваты — живем без сияния небесных лучей. Всю позднюю осень туманы и долгое бесснежье, потом глухие снега, потом резкие морозы, внезапные прыжки в оттепель, сейчас обещают метели. Да, а куда ни позвоню, или кто из России позвонит, всегда спрашиваю: как у них за окном? А у них везде солнце. И морозцы для румянца щек и для бодрости. Ну,

и чего жалуясь, говорю себе, поезжай туда и живи там, кто не дает? А не дает канатами привязанное сердце к любимым деточкам. Да, так вот, не знал я, не думал, не гадал, что главная любовь меня ждет в старости, что все юношеские и взрослые волнения крови — так все крохотно по сравнению с любовью ко внукам.

Старость моя естественна для них. Они меня молодым не знали. «Дедушка, — говорит Анечка, — ты уже старенький, ты уже можешь ногами шаркать». Или, еще смешней: «Дедушка, а почему ты не учишь английский язык?» — «Я в школе немецкий учил». — «Надо английский учить». — «Мне уже поздно, Анечка». — «Да, — соглашается она, — язык выучишь, а сам помрешь». — «Вот именно, зачем мне потом английский?»

Очнулся я, обнаружив себя в дымовой завесе, — сгорела моя картошечка. Анечка, это ты виновата, так я тебя люблю, что и время не замечаю, когда о тебе думаю. Думал, вот бы Анечка любовалась синичками. Да, у них такие крепкие клювики, что отдалбливают даже сильно замерзшее, прямо каменное сало, и скоро, много через неделю, останется от большого куска только легкая шкурка, и синицы, качаясь на ней, будут поглядывать на окна дома — где там хозяин, что не идет на рынок? Мы бы слетали, да у нас денег нет.

БОБЫЛЬ

Сосед мой Сергей Михайлович получает раз в месяц пенсию и после нее устраивает запой на три недели. По его лицу я всегда могу судить, в начале он запоя или в конце. Узнаю по седой щетине. В запое руки начинают трястись, будешь бриться — порежешься. Борода при пьянке растет быстро. Но вот уже и деньги кончились, то есть и запой. Сергей Михайлович приводит себя в порядок, чтоб в приличном виде идти в сбербанк, получать пенсию, а там начинается новый цикл. И борода снова начинает упрямо отрастать. Я прихожу, приношу квас или кефир. Сергей Михайлович молча глядит в пространство.

— Ну в этот-то раз уж больше не сбривай бороду. Смотри, какая отличная, седая, крепкая.

— А как я за пенсией пойду?

— Так и пойдешь. Красиво же!

— Красиво? Скажут: запил и побриться не может.

— Да ну! Слушать их! Ты же русский мужчина. И вообще, мужчина без бороды — все равно что женщина с бородой. А женщины как говорят? Поцелуй без бороды — что яйцо без соли.

— Жизнь прожил, чего уж теперь. А ты чего пришел? На дурака посмотреть?

Окончание следует.





Альберт ЛИХАНОВ



Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 за 2018 год

ОГЛЯНИСЬ НА ПОВОРОТЕ, ИЛИ ХРОНИКА ЗАБЫТОГО ВРЕМЕНИ

Рисунок Марины Медведевой

РОМАН В ПОВЕСТЯХ

5

Не дрогнув ни одним мускулом, я переписал эту длинную цитату, даже, кажется, неторопливо сложил листок вчетверо и положил его в карман пиджачишки.

Судьба обращалась со мной крайне деликатно: тетька вернулась точно тогда, когда я перевернул обложку красной книжицы. Посмотрел на нее. Смотреть следовало спокойно, и если не улыбаясь, то крайне доброжелательно. Так учил нас фильм «Подвиг разведчика» и замечательный красавец Кадочников.

— Спасибо, — сказал я, пряча все свои возможные чувства.

— Пожалуйста, Николай Кузнецов! — ответила она, принимая брошюру и совершенно не улыбаясь. И спросила: — А вы не родственник нашего славного уральского разведчика Николая Кузнецова? Смотрели фильм «Это было под Ровно»?

— Кто же не знает Николая Кузнецова? — непритворно вздохнул я. — Но Кузнецовых у нас — каждый десятый. А Николаев — и того больше.

Теперь она приветливо улыбалась мне, отыскивая, вероятно, в моем тощеватом, но молодом образе положительные черты. Потом напомнила:

— Не забудь к Серафиму Юрьевичу. Вы, оказывается, знакомы.

Я пришел в прихожую — трудно назвать приемной узкий коридорчик с узеньким оконцем вдали, и меня пустили к нему почти сразу. Он сидел в начале длинного стола заседаний, а перед ним лежали две огромные стопы исписанных бумаг.

— Кузнецов, — обратился ко мне вроде как официально, но тотчас смягчил: — Коля! Вот какое к тебе предложение.

И помолчав, двумя-тремя фразами обрисовал суть разговора.

После смерти Сталина прошла амнистия. Справедливая в большинстве случаев, она выпустила из лагерей множество уголовников. Прошло три года, а положение не улучшается. Банды, хулиганье, в том числе новое, молодое, милиция не успевает их отлавливать. Родилась идея — создать комсомольские оперативные отряды. Выпустить на улицы сотни тысяч студентов, рабочих, всех, кто старше семнадцати лет. Каждый район очищается от бандитов. Оружие одно — красная повязка: комсомольский оперотряд. Каждый отряд включает в себя вооруженного работника милиции. У всех остальных — кулаки!

Хэ-хэ! Мы и сами видели эту шпану, до сцепок не доходило, но слухи о драках и поножовщине витали над городом.

— Но что могу я? — возник справедливый вопрос.

— Не один ты, скоро всех вас позовут — пригласят.

Надо, чтобы ребята захотели, понимаешь? Тут есть риск, кто спорит. Но это — дело, действие, а не болтовня. Хватит трепаться о свободе! Ее надо защищать.

Он снял очки, протер галстуком, широкий, лобастый, представительный, настоящий мужик, только глаза без очков смотрели как-то по-детски.

— Знаю, Кузнецов! Коля! Что тебя не было на собрании, болел. Но надо ведь как-то успокаивать народ! К делу надо прибиваться, что бы с нами ни происходило! Родину надо...

Он помолчал, выбирая слово, и прибавил:

— ...сохранять!

Но цитата из красной книжицы жгла мне сердце. Оно еще и от переписывания-то не угомонилося: билось часто, как какой-то заводской молот.

Мне хотелось достать ту бумажку, развернуть ее и дать перечитать этому человеку. Но он же, подумал я, и так все знал, слышал, читал, да и не один раз, наверное. Скажет строго — а переписывать нельзя! Может, даже возмутится? Ну и чего я вообще добьюсь своим удивлением, непониманием даже? Обвинит в наивности?

Я выдохнул воздух, сказал, что лично в оперотряд готов. И что ребятам про этот разговор сообщу. Он кивнул.

А вернувшись в университет, позвал в фотолaborаторию небольшую кучку друзей. Что-то подсказывало мне — большую нельзя. После краткого совета с Минибаем было решено пригласить на абсолютно закрытую встречу Зиновия Абрамовича. Хотели Бориса Самуиловича, заведующего кафедрой партийной и советской печати с орденом на груди, но пришли к выводу, что тот при должности и наши вопросы поставят его в неловкое положение.

Все случилось весьма складно: хитрован Иван Иванович, заведующий, уходил по каким-то делам, а мне оставил ключ от всего своего фотографического пространства. Однако чтобы посильнее законопатиться от всего и вся, мы с Минибаем, Яшка-моряк, Игорек Коробкин да Генка Шидрин, ну и, ясное дело, Джурка Скок собрали все стулья в одном из темных отсеков для печати и проявки.

На почетном кресле сидел опытный доброжелатель в очках, блистающих красным отсветом лабораторного фонаря, и кто-то из нас, помнится, Минибай, спросил выразительно:

— Объясните нам, пожалуйста! Что случилось в стране? Почему он вдруг стал во всем виноват?

— Вот мясник Микоян, — хрипло вскричал Яков, — на съезде доболтался, что ему «Краткий курс истории ВКП (б)» не нравится! Чего же ты раньше молчал, соратник, сказал бы автору, пока он жив, вы же часто встречались!

— Да это они, — задумчиво сформулировал Коробкин, — все на одного валят. Чтобы с них не спросили: а вы? Где были? Кого сажали? Помните? На ком шапка-то горит?

— И что делать? Ведь ни партии, ни власти, — опустошенно проговорил Скок, — никакой веры.

Зиновий Абрамович поломал свои ладони, потрещав косточками, проговорил:

— А я и сам, ребята, не знаю!

Помолчал и продолжил:

— Конечно, что-то доносилось до меня — всякие разговоры, сплетни, слухи. По счастью, меня обошли и клевета, и доносы, и обыски, и лагеря. А потом, когда кого-то называли врагом народа, вопросов задавать не полагалось. Да и сейчас не полагается.

Он покрутил головой, и его очки с красными линзами зловеще заблестели.

— А вот про веру, Джурий, это неправильно. Страна большая, людей много. Разве мы случайно выиграла войну? А индустриализация? Хотя бы вот здесь, в этом городе? Ошибки бывают у всех, но не верить всем подряд — и матери, и отцу, и тем, кто во главе, — нельзя! Просто невозможно.

Я достал из кармана заповедную бумажку, списанный хвостик закрытого письма. И вслух прочитал его.

— Откуда это? — удивился наш советчик.

Я объяснил.

Он будто проснулся, даже помотал головой.

— Возможно! Да, может быть! Я не очень помню, разве все осознаешь, но вы сейчас прочитали... Подчеркнули... И это что-то проясняет! Ответственность за страну не может принадлежать лишь одному!

Он опять поломал пальцы.

— Вы уже взрослые люди. Научиться отличать добро от зла, предательство от верности, веру от неверия — нелегкое умение. Особенно когда они намертво сплетаются, а то и сливаются в одно целое. Такое умение — отличать одно от другого — целая наука. Многие ее до смерти своей освоить не могут. Но надо стараться.

Он поворочался, побряхтел по-старчески.

— Так что неверие в партию — это глупость. Вашему племени предстоит ее очистить, это другое дело! Но не верить — значит, предать.

В кабине стало душновато, я распахнул дверь, воздух обновился, в большом зале царствовала прохлада, свежесть, да и говорить за общей закрытой дверью вполне безопасно. Только вот кричать нельзя. Но мы даже такой, совсем малой, массой перебивали друг друга, шумели, наконец, наш наставник изрек:

— А теперь я нарушу партийную дисциплину. Вы, конечно, можете сослаться на меня, но знайте, что

на другой день я вылечу отсюда, и это навсегда! Так что — вы готовы проявить порядочность?

Мы почти взвыли от такого сомнения, и наш старший доброжелатель сообщил следующее.

Черкинов и Карпевич добрались до приемной ЦК, сюда едет комиссия и журналист одной из центральных газет, чтобы подробно во всем разобраться. Решение комитета комсомола, исключившего их, судя во всему, отменять не будут. Но из университета не выгонят. Только переведут на любое другое отделение истфилфака с журналистики. Тимохину из секретарей снимут. За организацию поездки и сбор денег. А Бориса Самуиловича уже освободили от заведования кафедрой партийной и советской печати. С формулировкой «за низкий уровень воспитательной работы».

Мы сидели, онемев. А про Джурку, видно, наставник приберегал на сладкое.

— Вам, Джура, надо не горячиться, как вы делаете даже сейчас, в кругу друзей. В корне изменить свое состояние. Выпрямить дух. Решение о вашем исключении из комсомола только обсуждается. Оно может не состояться, если вы признаете ошибки. А может и состояться, если будете валить на власть в целом. И значит, дискредитировать систему.

Он вздохнул.

— Выбирайте! Но я советую, придите в себя. От вас не убудет. Вам жить да жить!

6

Похоже, отсутствие на бунтарском собрании по причине двухстороннего крупозного воспаления легких одарило меня странной привилегией: незамаранного, но близкого к событиям соглядаята.

Вроде какое тут преимущество? Но меня как-то неявно выделяли. И чуть ли не индивидуально — скорее, штучно — позвали на очень немногочисленное, но важное ристалище. Уже не в райком, а в комсомольский обком. Робея, я проследовал по ковровым дорожкам в небольшой зальчик, куда скоро, можно сказать, привели Джурку. Слово «привели» здесь выходит не очень справедливым, потому что главной провожающей нашего бунтаря оказалась та самая румяная филологиня с косичками по фамилии Грачева. Дочка профессора. Но тут же и был Серафим Юрьевич, опять знакомое лицо. Ничему не удивляясь, он молча пожал мне руку, негромко сказав:

— Смотри!

Я сначала подумал, что тут какое-то предупреждение, или как? Только по ходу дела сообразил — это просто пояснение: мол, гляди, и все. Без подтекстов.

Заседание оказалось недолгим, во мне мелькнуло, что все тут продумано заранее. В комнате появилось человек семь каких-то персон — но! — одну я знал. Это оказался тот самый дядька, который спрашивал, как мы относимся к Сталину, Федор Тимофеевич. Теперь он был уже в пиджаке с галстуком и без орденской планки, оглядывался вокруг приветливо, как тогда, весьма доброжелательно посмотрел и на меня. Но сел сбоку, хотя оказался намного старше всех, а делом управлял совсем юный парень, немного старше нас, к которому, тем не менее, все обращались по имени-отчеству.

Этот молодой сдержанно, без лишних чувств, сообщил, что студенты университета, комсомольцы прежде всего, проявили свою политическую малограмотность, поставили под сомнение систему в целом, ударились в демагогию. Двое — он назвал их имена — из комсомола исключены. И вскинул голову:

— Но в университете они учатся!

И подчеркнул, повысив голос:

— Мы не оставим неразумных в одиночке!

Хотел, наверное, сказать «в одиночестве», но услышалось-то по-другому. По крайней мере, мне. Я поешился.

— А теперь, — сказал этот молодой начальник, — мы выслушаем еще одного, — усмехнулся. — Энтузиаста! Стоит вопрос о его исключении.

И к столу Джурку подтолкнула, отчего-то улыбаясь, Грачева.

Тот глядел вокруг горячими, искренними глазами, полными слез, но до них все-таки не дошел. Ругал себя. Анализировал. Признавался, что виновен, и клал голову на плаху, что подобное не повторится. Мне искренне хотелось, чтобы поскорее все это кончилось. Ругал себя, что побежал сюда по первому свистку, — ну а опять же, как было не пойти, если зовут?

— Обсуждать будем? — спросил молодой и поглядел на Федора Тимофеевича в пиджаке. Тот повел головой, как будто подал команду.

— Все ясно! Характеристики, которые собраны, — он пошуршал бумагами, — положительные. А теперь слово секретарю райкома, — он назвал фамилию Серафима Юрьевича. — Он же ведь и аспирант университета!

Хотел, видать, задраться как будто, но Серафим ему не дал.

Он сказал резко и решительно: студентам не хватает знания жизни; им нужно идти в гущу народа; самое положительное и доступное — создать оперативный комсомольский отряд. И навести порядок! Решения на эту тему есть, комсомол готов работу возглавить. И вдруг обратился к Джурке:

— Скок, пойдешь в комсомольский отряд?

Тот, конечно, обрадованно кивнул. Серафим отыскал глазами меня, но не тронул, а тряхнул головой и твердо заверил:

— Многие студенты уже подтвердили свое участие!

7

Потом мы почти надрались. Между прочим, снова в компании с Пудолем и в том же «Савое». Джурку качало-таки от радости. И то — какой валун свалился с плеч! Веселился и Минибай, признавшись, что его по роли как курсового секретаря вдоль и поперек!

— А ты? — уточнял я.

— Молчал и кивал. Как выяснилось, самое лучшее, что можно сделать! Начнешь говорить — да еще крякнешь лишнее!

Пудоль смеялся, восхищенно почему-то мотал головой, удивлялся Джурке, называл правдолюбцев чудачками и при этом не раз повторил:

— Их час еще не пришел! Погодите малость!

При этом сообщил, что приезжал серьезный мужик из большой газеты, второй, а не первой по значимости. И надо следить — скоро появится разбор.

— Наверняка нас всех заставят это перепечатать, — сказал Пудоль, — но есть твердое указание. Самим никуда не лезть!

Он гоготнул:

— А то еще нафантазируем ерунды! Подольем керосину в огонь! Но! Урал! Будет соблюдать! Спокойствие!

Пудоль снова читал свои стихи, мы восхищались ими и чокались казенным хрусталем. И тут он то ли в шутку, то ли спяну спросил Джурку:

— А может, тебе жениться?!

Мы хохотнули, Скок вместе с нами. Но ответил, мне показалось, по-взрослому:

— Надо встретить! Надо привязаться! Надо, в конце концов, научиться зарабатывать...

Но на этой разумной ноте подведение политических итогов не завершилось. Пудоль стал склонять голову то вправо, то влево, затем вскидывал ее и каждый раз как будто заново встречался с нами.

— О-о! — поднял палец наш признанный гений. — О-о!

А потом произнес две истины, запавшие на всю жизнь. Думаю, не одному мне.

— Запомните, — с трудом, каменеющим языком, проговорил он и указал пальцем на Джурку. — Судьба превратна! Набздишь и нюхаешь обратно!

Мы даже толком не поняли, что это говорит нам признанный талант — такая это была неинтеллигентная

для Пудоля выходка. А он собрался с силами и сказал еще кое-что.

— Оглянись вокруг себя, не имеет ли кто тебя?

И мы, дурачки, оглянулись вокруг себя.

8

По весне все мы попали в комсомольский оперативный отряд. Для этого требовалось прийти в райком, лучше кучкой, человек в пять, прицепить к рукаву красную повязку, где белыми буквами пояснялась наша принадлежность, и ходить по маршруту, указанному на бумажке. Всякий раз группе присваивался номер этого маршрута.

Больше всего подмывает нарисовать здесь какую-то героическую операцию, где победили порядок и справедливость. Но ничего героического с нами не произошло. И Серафим Юрьевич, инструктируя первый раз, повторял одно и то же: злоупотреблять не смейте, но у вас есть кулак! А если что-то особое, бегите в опорный пункт, где дежурит милиция. Повязка заменяет документы.

Успех этого предприятия заключался в том, что райкомы вывели на городские улицы тучи человеческого молодняка. Мы будто водили какие-то хороводы. Вроде маршрут наш — а навстречу целая толпа ребят, совсем незнакомых, спрашиваем, откуда, — из политеха. Или вот девчонки! Медички ходили толпами человек по пятнадцать сразу. Кудахтали и хихикали — от такой полуроты любой бандюк сбежит. Шутка ли, столько девок сразу!

Словом, мы уютжили асфальт, булыжные мостовые, деревянные тротуарчики, и столько, видать, было нас, готовых как ласково усостить, так и пустить в ход кулаки, что хулиганье то ли эмигрировало в иные веси, то ли — что тоже не исключалось, — помылось, побрилось, причесалось и присоединилось к молодым дежурным по городу! И умно поступило!

Раза два Серафим сказал нам, что где-то в районе Центромаша — знаменитый такой заводина — состоялась попытка драки, но инициаторы схлопотали свое, а их подручные смылись. Вот в таком роде. И еще он кипел энтузиазмом, сам отказываясь понимать, как это произошло:

— Милицейские сводки сводят хулиганство почти к нулю! И это ваша заслуга! Ребята, вы дежурите не зря!

9

Впрочем, все эти события не имели серьезного значения — они походили на фон, где судьба требовала от нас начертать что-то посерьезнее. Как-то однажды нам

раздали перечень городов и газет, куда нас направляли на летнюю практику. Ехать требовалось за свой счет, жить как кому придется, а сама практика, формально рассчитанная на месяц, могла продолжаться все лето, до начала занятий.

Старшие курсы допускались и до столицы, ну а нам предлагалась вся страна за Уралом. Выбор места и действия как бы становится репетицией выбора судьбы.

Три полных университетских курса, мои скромные испытания, вроде милости Сары Христофоровны, общежития на Щорса, которым владели крысы, непростой болезни длиной в два месяца, насмешливых — издавека-то! — воспоминаний о Старославянце, в шестьдесят лет родившего младенца и защитившего кандидатскую, — все это и составляло мою биографию. Более чем скромную, но тогда — легко вспоминаемую, еще теплую и нетерпеливо ждущую продолжения.

Многие ехали на практику поближе к родному дому и родителям — и мне, уверен, были бы рады! — но я отверг этот вариант начисто. И правильно сделал! А думал я тогда совсем как человек взрослый и разумный: домой еще успею, а пока надо побывать в местах дальних, куда не так-то легко и добраться. И, воспитанный на светлых идеалах недавнего прошлого, выбрал Комсомольск-на-Амуре.

Вообще-то, дальневосточников оказалось с гулькин нос. Яростно стремился туда Яшка Сенгур — он отыскал военно-морскую газету во Владивостоке. Минибай намылпился в Хабаровск и звал меня с собой. Но мне хотелось непременно в Комсомольск — там каждый день выходила большеформатная газета вроде «Правды» с названием «Сталинский Комсомольск»! А завлекал меня туда пятикурсник Костя Немухин, потому что бывал там на практике, и теперь редакция вызывала его на постоянную работу. Он все повторял мне: дел там невпроворот, людей не хватает. Мне этого и желалось!

Однако путь до цели занимал шесть суток: пять до Хабаровска, да плюс ночь в город юности. Увидев, что я не отступаю от цели, матрос Яшка озабоченно стал внушать нам с Минибаем, будто дорога окажется чрезвычайно трудной и к ней надо готовиться.

— Как? — удивился я.

— Сушить сухари!

И на мои сомнения, даже слегка издевательский смех, мол, не в ссылку же собираемся, словно клевал меня и Минибая своим большим носом — неразумных цыплят:

— Голод! Не тетка! Из поезда! Не выскочишь! Магазины — за окном! Один вагон-ресторан!

— Ну и будем там перекусывать! — говорил Минибай.

— Эх, пацаны! Сколько ж вам капиталу-то надо? А мне никто не подает!

В общем, не то чтобы мы над старослужащим издевались, все-таки друзья, но посмеивались и подхихкивали — вполне определенно. А он, как рассказывали соседи в его комнате, приносил из столовок бесплатный хрущевский хлеб, разрезал его и выставлял на подоконник, под которым теплилась батарея. Потом ссыпал сухари в чистую наволочку, которую выпросил у комендантки. Она уважила почтенного студента за его такую понятную цель — доехать на сухарях аж до самого Владика!

Потом пришлось всей гоп-компанией поехать на вокзал, основательно потолкаться возле деревянного павильончика с билетными кассами на восточное направление, открыть для себя, что в тамошней толпе существует постоянная группа, в тетрадку которой следовало продиктовать свои Ф. И. О. и номер паспорта. Попутно мы обнаружили, что из великой уральской столицы поезда на Восток не формируются, места продают на проходящие из Москвы, и число этих мест появляется в кассе только тогда, когда зеленая железная гусеница проходит предыдущую станцию. Так что лучше всего багаж сдать заранее в камеру хранения, а отмечаться в очереди не реже двух раз каждый день.

Ничего не переменялось с тех пор, как родители, с помощью Героя, отправляли меня учиться. Только героями предлагалось стать нам самим.

Первое же подтверждение места в очереди свергло в трепет. На другой после записи день ею управлял совсем иной человек, который ерлился, не желал нас слушать и уступил с большой неохотой, конечно, отыскав нас в списке, но ничем не обрадовав: ждать, по расчетам, предполагалось еще пару суток — одни уже миновали.

На Урале стояла несусветная, без ветерка, жара, похожая по суровости на здешние морозы, только с другим знаком: как зависнет тут континентальный мороз зимой или такая жара летом — хоть кричи. А бежать некуда!

Мы приходили втроем, барахлишко наше оставалось в камере хранения, где, кроме жары, стояла вонь, видать, от чьих-то протухших продтоваров, люди с тетрадкой менялись, но все-таки теперь были довольно честны. Ведь честность можно и потерять от такого жаркого морока.

Ровно на третий день наших мук стало известно, что в поезде, который появится через полтора часа, окажется столько-то общих мест. Наверное, их было десять, а то и пятнадцать, но, главное, мы все попадали в этот заезд. У самых дверей в павильончик клубилась людская каша, и совсем не пятнадцать претендентов

крепили тут оборону локоть к локтю. Но мы решили силой отстаивать свои права. За три дня, вообще-то, уже пришли к выводу, что ударной силой станет старшина первой статьи Яков, и в общаге оглядывали его впечатляющий облик: черные флотские клеши, тельняшка, черный китель с двумя медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Это впечатляло.

Однако толпу ничего не впечатляет в ее корыстной борьбе, а жара сделала китель совсем мокрым. Потому Яков сдал его нам на хранение, деньги зажал в кулаке, а три паспорта, для начала, взял в зубы. Впрочем, ненадолго.

Дверь открыли, мы защищали моряка своими телами, что частично удавалось, но ворваться в павильон вместе с ним не удалось! Первая порция залетела, и дверь заперли собой железнодорожные менты — были раньше и такие. Но Яшка-то оказался внутри!

И вот он вышел! Сияющий, с паспортами в руке и с картонными билетами в паспортах. Вся эта атака длилась некоротко, ведь даже чтобы выйти из павильончика, требовалась сила и напор. Мы заторопились в камеру хранения.

А когда поезд вполз на первый путь, мы побежали параллельно ему, чтобы первыми заскочить в вагон. Не тут-то было! В него стремились не только обилеченные, но и всякие проходимцы, кричавшие, что у них кто-то умер и кто-то рождает. На вагонных поручнях висела человеческая гирлянда. Слегка озверев, Яшка кинул нам свой пухлый вещмешок, заорал что было мочи: «Расступись, матросы!» — и стал скидывать с лестницы одного, другого, третьего, толкнул локтями тетку, влез по ступенькам и исчез в черном вагонном нутре! Что-то кричала проводница, людская гирлянда утроилась, и меня уже начал бить страх: ведь поезд уйдет без нас!

Но тут спасительно грохнуло окно в вагоне. Первое к выходу. Яшка высунулся с ликующим видом и крикнул: — Кидай барахло!

Мы с Минибаем передали Яшкин мешок, мой фанерный чемодан, выдавший фронтные виды, Минибаеву сумку.

— Давай ты! — крикнул мне Яшка.

— Я!

Вот это был фокус!

Я протянул ему руки, он, вывалившись наполовину, больно ухватил меня, Минибай подсадил.

Р-раз — и я оказался в вагонном туалете. Яшка, оказывается, стоял ботинками на толчке, а окно открывалось на две трети. Теперь уже вдвоем втащили Минибая. Он был выше меня, тяжелее и снизу его никто не подсаживал. Но все обошлось. Хоть и с царапинами. Но полной победы мы не одержали. Общий вагон был забит под завязочку, вроде консервной банки. Как и три года

назад тот Герой Советского Союза, Яшка перетолкал чьи-то мешки и освободил одну третью полку. Но лишь одну. На троих. Уже и пот не вытирая — платки хоть выжимай, истекая соленой и горькой влагой, мы выслушали окончательный приговор старшины:

— Спать придется по очереди.

Что и происходило в течение примерно суток. Потом, по мере выхода пассажиров, но еще до появления новых, мы захватили нужное для жизни пространство и чувствовали себя первоклассно.

Ах, как было хорошо ехать в неведомое! Мы часами стояли в тамбуре, сидели, тесно прижавшись на нижней полке, подвинув соседей, мы лежали, глядя в потолок, и без конца болтали друг с другом.

О чем говорили тогда — восстановить невозможно.

Но ясно помню — мы были дурашливы и светлы. Нам все нравилось. И некрасивая женщина, кормившая младенца, который и затыкался-то только затем, чтобы вцепиться ненасытным ртом в материнскую титьку. И сам этот младенец, несмотря на бесконечный его ор. И какие-то уркаганистые мужики, зоркие, но смиренные, похоже, отсидевшие свои сроки. И крикливая проводница в неснимаемой фуражке с красным околышем, которая кричать-то кричала, но умным глазом выявляла, кто окрика ее недостоин. И испуганные старухи, растолканные чужой волей по разным вагонным сусекам, но похожие своим неуверенным, угодливым, всего страшшимся видом.

Меня коснулась и тут же отлетела — по причине моей еще, видать, неспелости, — взрослая мысль, что вот мы трое — часть этого мира. И нам отчего-то уютно в этом несвежем воздухе, среди ничем не связанных, может даже, враждебных друг другу людей.

Но ведь — людей!

Живых, страдающих, куда-то в этой тесноте передвигающихся — исключительно по необходимости, а не для развлечения или ради суетных желаний.

Выходило, мы вместе с этими мужиками, старухами, женщинами и младенцами! Такие же, как они! И мы составляющая их часть, молодая, конечно, но никакого в том преимущества нет, — да, мы моложе, но они старше — значит, больше страдали, больше знают и труднее им приходится жить.

Может, когда-то и мы достигнем их лет. Как все сложится, разве отсюда увидишь?

А сейчас — мы только часть этого вагона, этого поезда, этой страны, шевелящейся, едущей, бегущей!

Слово и понятие «народ» было бы слишком высокопарным для тогдашнего образа нашего обитания. И мы просто ехали, просто болтали, просто смеялись и неслись навстречу чему-то неведомому. Но такому жданному!

10

А Яшка оказался прав!

После первых двух суток пути, когда мы по три раза в день посетили вагон-ресторан с солянкой, бифштексом и салатцем с рюмочкой, ресурсы наши обмелели.

Мы перешли на режим путевой экономии, с одним, урезанным, ресторанным обедом, но с завтраком, полдником и ужином из Яшкиных сухарей.

Мы опять же посмеивались, но теперь — над собой, а Яшка с шутовой отместкой корил нас неопытностью, самоуверенностью, нерасчетливостью.

И мы дружно глядели за окно, миллион раз удивившись безграничности и красоте заоконных промельков.

— Какая же огромная наша страна! — не уставая, охал я.

— Какое же бесконечное государство! — мудро приговаривал Яков.

— А если бы вы поглядели на это с воздуха! — соглашался Минибай.

Он ведь один раз перелетел с Крайнего Севера в столицу Урала. Единственный из троих летал пассажирским самолетом.

Может, даже единственный во всем вагоне!

ПОВЕСТЬ ШЕСТАЯ

МЕЧТЫ О НЕЗНАЕМОМ

1

Мы обнялись прямо у вагона в Хабаровске: наш старшой ехал тем же вагоном дальше, к Владике, Минибай достиг цели, а я перешел на другую платформу, чтобы сесть в поезд до места моих надежд.

Но прежде чем рассказывать про мечты о неизвестном, самое время поклониться Косте Немухину, ведь это именно он сказал, что в Комсомольске есть газета, где мало народа и работы — бескрайняя прорва.

— А сам город? — спрашивал он себя и тут же отвечал: — Легенда! А народ живет? Героический! А река Амур! — И голос понижал: — Да там прямо в реку — тсс! — уходят подводные лодки. И дальше в океан уплывают!

Был Костя старше меня на пару лет, сам здесь практику проходил, да так достойно, что его же не только на работу вызвали и подъемные выслали, разумеется, дорога за счет редакции, да еще и переезд кого угодно оплачивали, если женат — то жены, и детей, и тещи. Но Костя был не женат, детей не имел,

поэтому, чтобы не упустить возможность, приехал с деревенской тетей своей из-под нашей уральской столицы по имени Глаша. Глафира Ивановна — уважительное обращение.

Однако все это — чуть погодя, а пока мне было точно известно — Костя на работе, прибыл сюда неделю назад, да еще и сразу получил жилье — до того здесь не хватало образованных газетчиков! И с тетей Глашей уже во всю обживает, о чем он, добрая душа, не ленился сообщать мне аж телеграфом. Штуки три прислал, затаскивая к себе, да так, что я с самого начала знал — ночевать стану сразу у него с тетей.

На вид Костя был совершенно неказист. Лицо сероватое, будто несвежее, глазки невыразительные, голова — с ранними проплешинами — и спереди, и с макушки. Одевался по эпохе — непритязательно: про штаны не говорю, старые в гармошку у паха, на коленках они пузырились, но тогда ходили так почти все, и только пиджачок черного цвета могла освежать рубашонка с воротничком навыпуск.

Но душа! Как-то этак даже слегка прижмуриваясь, но при этом произнося слова поостроже, Костя чуть улыбался и выспрашивал про твои дела. Если ты, например, был не в настроении, он тотчас усваивал это и принимался не то чтобы утешать, но отвлекать человека в другую и непременно ясную сторону. Если понимал, что дело в деньгах, он тут же начинал шарить по своим карманам и если сам-то у себя ничего не находил, то удалялся, а через некоторое, и очень короткое время, возвращался и протягивал денежки. Все знали: перезанял! Но не для себя, а для тебя.

Кроме того, Костя обожал сводить людей — представлял друг другу незнакомых, начинал рассказывать тебе про кого-то другого, и тут же оказывалось, что этот другой стоит прямо перед тобой, и, таким образом, знакомство совершалось и почти всегда продолжалось.

Костя еще мастерски умел мирить людей. Всякий спор, особенно околонучный, — ведь наши споры между собой, были, конечно, почти всегда толковищем не до конца образованных людей, самых настоящих недоучек, — так вот когда они достигали точки кипения, даже готовности к рукопашной, Костя одной-двумя фразами, произносимыми примирительно и мягко, все самое твердое и слишком уж уверенное как бы умягчал, сглаживал, и спор иссякал.

Костя любил хорошо говорить про людей и всему в них восхищаться. Еще в университетских коридорах он удивлялся другим ребятам: какой хороший характер! Какие глубокие задатки! Этот далеко пойдет! Но он же и горевал:

— Как нам всем не хватает глубины! Усидчивости! Упорства!

Себя не обижал:

— Особенно мне самому!

Увы, всякие качества человека — благие или не очень — использует окружение и даже власть. А потому Костя был записным выступающим на каждом официальном собрании. При этом, как я узнал, он никогда не записывался, а его непременно вызывали. Знали, что он ничего плохого не сделает. Только откроет рот — сразу всех заговорит, загипнотизирует. И ведь он не тараторил! Даже спотыкался. А когда спотыкался, задумывался, выбирая слова, мемекал, получалось, что он думает, печалится, страдает, — и ему всегда верили. Именно про Костю и говорили: далеко пойдет.

Ну так и вышло, пошел очень далеко — аж на самый Дальний Восток. С тетей Глашей на руках. А меня он не сманивал, мне самому хотелось, да еще как! Однако Костя все же что-то свое думал, когда звал какого-то третьекурсника в газету, где самому предстояло только начинать.

В общем, на вокзале поутру Костя встречал меня с каким-то мужичком постарше, который оказался шофером, а дальше мы сели в «Победу», возившую аж самого редактора, и минут за десять достигли искомого.

Описывать редакцию не следует по причине ее простоты и бесхитростности: верхний этаж двухэтажного сооружения, под которым, как потом я узнал, очень удобно располагалась типография. И привел меня Костя прямо к редактору. Фамилия его была Хлебников, и он знал тут все, как растолковывал мне Костя. Потому что строил город с самого начала. Подтянутый, седой, худой, Хлебников без лишних слов и одарил меня хлебом-солью. Сперва сообщил, что ставит меня на оклад, направляет в главный отдел, называемый промышленно-экономическим, а если я еще и фотографирую, что вспомнил попутно Костя, то лирические заметки с хорошими фотографиями здесь желанны и жданны.

Мне не могло не льстить, что меня приняли за взрослого человека, готового специалиста, и все лето — до сентября — я с радостью вкалывал тут, легкомысленно пообещав на прощание вернуться.

Газетная жизнь вообще-то дело горячее, часто суettное, позволявшее роздых только в дни больших съездов, пленумов и речей, размножаемых через телетайп из Москвы. С этим тут не спорили, а радовались и переводили дыхание. Но в остальные дни! Я готовил чужие заметки, написанные чаще всего совершенно неграмотно, но они назывались авторскими и ценились на вес золота. Такого золота требовалось выдавать в каждом номере не меньше шестидесяти процентов. Только сорок отдавалось штатникам. Речь шла как о месте в

газете, так и о гонорарах. Но меня здешняя усталая и добрая редакция пропускала вперед. Чуть не в каждом номере стоял мой материал. А иногда сразу два. И однажды — даже три!

Все шло в дело — интервью со строителями, учителями, начальниками. Записи чужих — но нужных — высказываний. Рецензии на фильмы и книги, да и какие это были книги! Например, сочинение кукольника Сергея Образцова, знаменитого уже в ту пору, о поездке театра в Англию и его замечательных соображениях! И я накал восторженную заметку, которую тут же тиснули, еще и похвалив, хотя где Образцов с его куклами, где Англия, а где этот дальневосточный город и кто такой я!

Но все это было лишь впереди. А пока Костя взял меня за плечо и направил в сторону главной улицы. Мы вышли на асфальтированную дорогу и куда-то двинулись. Я порывался выяснить маршрут, но Костя говорил, чтобы я потерпел. И тут мы завернули за угол. А я будто споткнулся.

2

Прямо передо мной стояла река. Я такого еще не видал: вода тянулась километра на два в ширину, может быть. Ну, на километр-то точно! И она, сияя отраженным в ней солнцем и небом, казалась беспредельной, особенно если глядеть направо и налево, вверх и вниз по течению. Да если и прямо смотреть на противоположный берег, высокие сопки казались чем-то громадным, но не главным, а прилагательным по отношению к этому существительному — воде, ее гигантской массе, уверенно, тяжело, с каким-то неясным и грозным значением неспешно движущейся в неведомую даль.

Могущество воды меня поразило своим непокорством, неподчиненностью, совершенной независимостью ни от чего, кроме каких-то, может, верхних, нам неведомых сил. Мы же, маленькие точки по берегам, были для нее до такой степени незначительны и слабы, что она нас и в расчет, наверное, не принимала, мило-стиво соглашаясь лишь с нашим удивлением.

— Ну, вот тебе Амур! — сказал Костя, прищуривши глаза от обилия света. — Поражаюсь ему, как живому! Невиданный характер!

— Далеко пойдет! — пошутил я.

— Еще как! — не обиделся Костя. — До самого Тихого океана!

Теперь он уже оборотился ко мне:

— Понимаешь, да просто существовать рядом с ним — и то великая удача!

Ну а дальше произошло нечто невероятное. Никогда больше со мной такого не случилось. Все та



же «Победа» привезла нас к хорошенькому двухэтажному дому, мы поднялись наверх, в Костину квартиру, оказавшуюся еще и двухкомнатной, но — пустой, с одной раскладушкой, где, судя по приметам, помещалась Глафира Ивановна, которая, обо всем давно извещенная, приняла меня как родственника, Костиного брата, например, только помоложе.

Мы ополоснулись в ванне — тетя Глаша торопила перекусить, а когда уселись за небольшой столик на кухне, и Костя, и я вытаращили глаза.

Глафира Ивановна удивилась:

— А че! Я вам какой-то кашки красненькой на рынке взяла.

Эта кашка щедрой рукой была разложена по глубоким тарелкам. Да еще и на краешки их опирались большие, хоть и дюралевые ложки — чтоб сподручней кушать получалось. Ну, хлеба нарезано рядышком не очень чтобы много — разве каши-то хлебом заедают?

Но самая поразительная подробность: в трех тарелках под видом каши лежала красная икра.

Тетя Глаша была крайне смущена нашим смехом. Сперва недоверчиво глядела на нас, потом вконец смутилась. И в неспешном разговоре, да потом с продолженьицем, обрисовалась не что-нибудь, а вся ее судьба.

Никуда за свою жизнь Глафира Ивановна не выезжала из своей деревушки, которая и запряталась-то довольно недоступно от уральской столицы. Так что она даже и там-то не бывала. Родилась, выросла, начальную окончила, крестьянствовала, братья-сестры уехали — одна из них Костина мать, — а своих детей у Глафиры не получилось по причине ее некрасивости: никто замуж не взял. Вот почему она с Костей-то прямо из деревни, родины своей, и двинулась куда глаза глядят.

Про икру никакую не знала, никогда ее не едывала, но гречневую-то кашу варила, ясное дело, и когда Костя направил ее на здешний рынок, да еще в первый раз

за неделю нового житья, она и взяла эту красную еду, приняв за какую-нибудь тутошнюю кашу. Да и разложила к нашему угощенью!

Тем, кто усомнился в подлинности события, напомню: телевизора тогда не существовало, дороги и сейчас не до всех углов добрались, люди из деревень разбежались, не всегда возвращаясь, а забытые старухи... Их слишком много и посейчас — но дело в том, что они уже другие.

А как мы хвалили Глафиру Ивановну за эту соленую кашу! Правда, больше трех столовых ложек одолеть не удалось! Да и то пили воду до поздней ночи.

3

Похоже, любое появление новичка в любой — а особенно небольшой — редакции во все времена происходит совершенно мимолетно, в одно касание. Я поздоровался в первый же день почти со всеми. Трудность состояла в том, чтобы запомнить с одного раза имя-отчество грядущего наставника — прямого или косвенного — и не запутаться в фамилиях-именах-отчествах.

Среди самых тихих и вежливых оказался художник-ретушер Игорь Николаевич, с которым я столкнулся по делу буквально через день, отсняв и напечатав свою первую катушку. На пленке не было ничего существенного, кроме городских уголков, которые я выбирал неумело, но всем сердцем.

Одну такую картинку я и принес Игорю Николаевичу, сперва подтвердив ее необходимость газете у ответственного секретаря Темкина. А этот когда-то окончил наш университет — так что тут выстраивалась целая уральская команда, — и он встретил меня оживленно, все расспрашивал про наших преподавателей — кто да как!

Я ему послушно излагал, что знал, понимая радость воспоминаний. Ответсек и к Косте, разумеется, относился дружески, без всяких при этом выборов сразу возглавив уральскую компанию. Может, благодаря этому доброжелательству картинку он сразу одобрил, и я познакомился с ретушером.

Здесь было тихо, негромко играла классическая музыка, стены оклеены репродукциями из «Огонька», и работа мастера с моей фотографией заняла минут пять, не больше. Но я удобно пристроился в мягком и крепко потертом креслице для гостей, будто в уютном гнезде птенец, и мне не хотелось двигаться.

Молчаливый ретушер убавкивал своим негизетным спокойствием, тихо подкрашивал белилами картинку и спрашивал меня о жизни удивительными словами:

— Ну как там, на материке?

— А разве здесь — остров? — удивлялся я.

Он посмеивался, повторял по-другому:

— Тогда как там, в России?

Мне бы поудивляться дальше, но и следовало же обобразать, что это не выдуманное им определение.

— А вы, Игорь Николаевич, — спрашивал я, — где-то учились вот этому... ретушерству.

— Да нет, — ответил он, — но я кончил художественную академию Репина. Есть такая в Ленинграде.

— Так вы художник?

— Занимался мозаикой. Пятнадцать лет назад.

Под влиянием нашего великого искусствознатца Бова и коллекции открыток Вовки Потникова мозаика светилась из далеких времен и несметных богатств, когда по полам, украшенным изображениями, вдоль стен, блистающих цветными камнями, в древних тогах шествовали не наши пращурь. Мои скромные познания ретушер переводил в реальность:

— Ну, в метро полно мозаики, например.

— Значит, вы же другое умеете, — я кивал на его планшет, — а не только это.

— Умел, умел, дорогой мальчик. Но пятнадцать лет — это пятнадцать лет.

— И чем же вы занимались? — все не в силах был допереть я.

— Скажем так, работал на золотых приисках. Далеко в тайге.

— Ничего себе! — ухал я. — Да вам книгу писать надо. Клондайк! Джек Лондон!

— Похоже, — усмехнулся он, — но не совсем. Сидел я, милый мой. Тоже Север. Почти Клондайк, называется Колыма. А те, кто сидят, на самом деле вовсе не сидят. Работают. Валят лес. Или золото моют.

Газетная труба звала в бой, я выскочил, условившись о продолжении разговора, и, как оказалось, многих разговоров. А этот человек, пониже даже меня и вовсе не очень старый, но белый до кончика последнего волоска, в общих чертах, никого не вина, рассказал потом, что вышел, полностью отсидев пятнадцать лет.

Незловиво усмехаясь, Игорь Николаевич сказал, что сидел за дурацкий анекдот про вождя, и за это его обвинили в подрывной деятельности, да еще и коллективной. Что ценилось дороже.

— Вы знаете, — спросил я его, — про доклад Хрущева? Про закрытое письмо?

— Знаю в общих словах. Читать не мог.

— А я читал, — признался я.

Он с вниманием посмотрел на меня, потом кивнул:

— Сейчас вообще-то потихоньку отпускают. Но ко мне досрочная свобода опоздала. Я и так все до конца отбарабанил.

— Наверное, — спросил я наивно, — вы ненавидите Сталина?

— Лично его — нет. И знаешь, — он выразительно, но без всяких чувств, посмотрел на меня, — я не хочу вспоминать это... А без Сталина мы бы не победили.

4

Однажды меня вызвал сам Хлебников и дал задание. Выглядело оно просто: написать про учительницу, которой присвоили звание заслуженной, и сфотографировать ее. Я уже напрягнулся, чтобы скакать, но шеф притормозил меня.

— Будь, пожалуйста, поделкатнее, — как-то странно попросил он.

Попыхтел своим мундштуком и прибавил:

— Эта женщина многое пережила, но дело даже не в ней.

Я был чрезвычайно внимателен, но ничего не понимал.

— Дело в том, что ее муж был в заключении. — Он опять глубоко затянулся. — Еще месяц назад, понимаешь. А сейчас представлен — только не проговоришься никому, слышишь? — к званию Героя Соцтруда. Дальше его выдвинут в Верховный Совет. Жалко, если уедут.

Хлебников внимательно смотрел на меня, будто проверял самого же себя: а этот парень хоть что-то понимает? Парень не понимал, и редактор понял это.

Вздохнув, пояснил:

— Ее муж — генеральный конструктор. Гениальный конструктор! То, что он изобрел и произвел, с трудом представляю даже я. При этом был заключенным. Просто семья жила на объекте, за колючей проволокой, и он работал, а жену отпускали на уроки в школу. Даже на машине возили. Почти двадцать лет! И вот теперь все переменялось. Они в новой квартире, свободны.

— Как птицы? — глупо улыбнулся я.

— А вот это подтвердить не могу! Они же — казенные люди. Собственность государства!

При этом Хлебников чертыхнулся, выбил окурочек из мундштука, даже разозлился:

— Я это тебе, чтобы ты не лез ей в душу! Понял! В биографию! Сделай картинку и напиши ласковый текст!

За мной даже пришла машина! Отвезли довольно далеко, на окраину, к школе. Но ведь на дворе стояли каникулы. Все равно меня ждали, и я быстро предстал перед Надеждой Павловной.

Внешне она выглядела очень элегантно, была ухожена, завита, хорошо одета, стояла на каблучках, как моя мама по праздникам, но при этом и туфли эти, и платье не были отличны от одежды обычных учительниц. Просто все аккуратное, будто новое.

Я объяснил ей поручение, назвал имя Хлебникова, попросил выйти со мной на улицу и несколько раз щелкнул своим ФЭДом. Редакторское предупреждение как-то окорачивало меня, остерегало, может быть, и я все не решался, что же мне такое спросить, ни о чем не спрашивая. Наверное, заметив мою неуверенность, Надежда Павловна предложила:

— Мы живем неподалеку, может, вы проводите меня? А потом вернетесь к школе. Машина будет ждать.

Я пошел рядом с ней и вместо того, чтобы расспрашивать, за что ей присвоили звание, для себя неожиданно стал рассказывать, как в войну наши уроки начинались при свечах и коптилках. Получилось интервью наоборот, и Надежда Павловна с любопытством взглядывала на меня, а когда подошли к двухэтажному новому дому, вдруг пригласила:

— Вы пьете кофе?

Ну да, я пил кофе с молоком в университетской столовке, да и дома мама изредка, может, в день рождения, готовила мне, да и себе с отцом что-то, называемое кофе. Я даже кивнул-то как-то обыкновенно, неудивленно и совершенно ошибся.

Надежда Павловна позвонила, нам открыла молодая, быстрая и четкая женщина, и я сразу уловил, что это не родственница, а еще кто-то, да и без кого-то такая квартира была бы, наверное, неупотребима для жилья. Мы прошли через зал, где стоял громадный рояль, мимо приоткрытых дверей, наверное, кабинета — в прорезь виднелись шкафы до потолка, забитые книгами. Путь лежал на кухню, и, сполоснув руки, Надежда Павловна взяла какой-то медный, слегка похожий на кувшин, сосуд с деревянной ручкой. Что-то она насыпала туда, нагревала на плите, мной до сих пор невиданной, потом принесла мне и себе две крохотные, изящные чашечки.

— Кофе по-турецки, — пояснила хозяйка и присела напротив. — Я вам посоветую, — сказала она мне неожиданно, — когда окрепнете в своей профессии. Когда придет к вам желание и умение! Напишите про эти свои военные уроки! Про школу, учительницу! Про всю вашу жизнь!

— Но это было в детстве! — возразил я.

— Вот именно! — кивнула она. — Это было в вашем детстве. Ни одно детство никогда не одинаково с другим! Похоже — да! Но не одинаково!

Встреча обретала односторонний характер. И я, простофиля, еще не услышал ни слова от моей героини. А она это понимала.

— Ну! — сказала, будто услышав мою тревогу. — Напишите своими словами. В школе работаю четверть века. Двадцать последних — здесь.

Преподаю математику в старших классах: алгебра, геометрия, тригонометрия. Полюбить математику — непростое дело! — И я в этом месте закивал. — Но многие выбирают ее, потому что быть инженером — почетное дело! И ребята, отучившись в институтах, возвращаются на наш объект. — Поправилась: — На наш завод.

Она улыбнулась.

— На остальное, наверное, вам намекнул ваш редактор, так что пока забудем это. — И отвернулась к окну. — Все хорошо, что хорошо кончается! — проговорила невесело.

И тут громко хлопнула дверь. А на кухне возник огромный дядька, сияющий и громкоголосый.

— Надя! — гаркнул он, смеясь и не обращая на меня ровно никакого внимания. — Собирайся! Вылет — по готовности! Звонили из Кремля! Вызывают, на встречу! Самолет прогревает моторы!

— А это, — указала на меня Надежда Павлова, — юноша из газеты! Пришел написать про школу.

— Написать? — удивился он поначалу, потом встряхнул головой. — Ну да, написать! Срочно написать! Конечно, написать!

И убежал куда-то.

— Ну, в общем, так! — завершила встречу Надежда Павловна. — Он находился в заключении почти двадцать лет! Но он оказался нужен! И создал целый мир! Сейчас об этом нельзя, молодой человек! Но скоро будет можно! — И вдруг продекламировала красивым, как у артистки, голосом: — Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья!.. — Спросила: — Вы Пушкина, конечно, помните?

И не дожидаясь моего ответа, завершила:

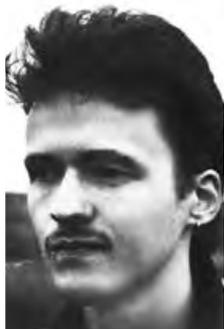
— Пора! Пушкин зовет!

Машина, которая должна была ждать меня во дворе школы, бесследно исчезла, я добирался автобусом и едва не опоздал в редакцию.

Хлебников лично выбирал снимок в номер, пока я шкрябал банальный текст из общих слов, но с требуемой лаской, подтверждал милый образ заслуженной учительницы.

Продолжение следует.





Макс СЫСОЕВ



Продолжение. Начало в № 4, 5, 6, 7 за 2018 год

РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ ВОСПОМИНАНИЙ

Рисунок Марины Медведевой

Как я жаждал попасть в университет и начать учиться! Пожалуй, из всего, что было в моей жалкой жизни, так же сильно я надеялся только на Патрика. Филфак я полюбил сразу, после дня открытых дверей в середине весны. Он очень походил на Храм Эногора из «Странников», который мне снился. Изящное здание времен серебряного века с колоннами, с огромным залом с прозрачным потолком и фонтаном, с просторными аудиториями, в которых учили мудрости и древним искусствам, — ну разве можно было туда не стремиться?

В университете меня приняли со скепсисом. Было в моей группе несколько человек, которые как будто бы поступили, но не спешили приходить на лекции. Никаких предпосылок к их появлению в дальнейшем не присутствовало. И я, пропускавший лекции до середины октября, был причислен к этой группе «мертвых душ». Пришлось учиться активно. Особо дотошным преподавателям я давал ксерокопии моей справки о нетрудоспособности. В целом упущенное наверсталось быстро. По сравнению с математическим анализом и «Паскалем» (ублюдочным языком программирования с кучей скобок) в МИРЭА филологические премудрости воспринимались как игра. Разве что на внутрисеместровой контрольной работе по латыни меня вдруг охватил истерический смех, когда я почувствовал себя имбецилом, не будучи в силах ответить ни на один вопрос, но ведь и латынь я в итоге сдал, благо сам язык (шибко сложный) на зачете знать не было нужно — требовалось лишь рассказать двадцать-трид-

цать изречений мудрых древних римлян, а это сплошное удовольствие. *Sive habes quid, sive nihil habes, scribe tamen aliquid.*

Одна на редкость дотошная преподавательница вошла в пятерку самых мудрых людей, каких я когда-либо встречал. Преподавала она фонологию — один из разделов сложной и бесполезной науки под названием «современный русский язык». Русский язык, изучаемый на филфаке, давно не был современным, однако это никого не смущало: филология — наука предельно консервативная. Странно это осознавать, но на филфаке, после многих лет школьных унижений, я стал отличником. Начал с фонологии, закончил литературоведением, — и все казалось игрой.

И все бы хорошо, да только мне было в те дни довольно паршиво. Организм еще не оправился от мононуклеоза, и слабость меня донимала. Когда слабость прошла, на меня обрушилось мое давнее проклятие: стоматит. Стоматит — это маленькие язвочки во рту, которые возникают непонятно отчего и проходят неведомо когда. Они болят не хуже, чем гниющие зубы. Поглощать пищу, если во рту есть хоть одна такая язва, достаточно сложно, а если их две и больше, то процесс питания превращается в инквизицию. Я, сука, знаю, откуда у меня стоматит. Меня им заразил пидор-стоматолог в клинике, где мне пытались исправить кривой прикус. Прикус-то у меня еще какой кривой, и столь же набекрень были мозги у врача. Он лазил мне в рот руками в драных резиновых перчатках. Хер знает, в чьей еще пасти (а может, заднице) эти перчатки побы-

вали. Я б завопил: «Уберите это говно от моего рта!!!», но тогда я учился во втором классе, у поехавшей училки, и боялся буквально всего. И вот после этого у меня стоматит. А лечить его не умеют. Время от времени он проходил, а иногда брался за дело основательно.

После мононуклеоза иммунитет ослаб, и стоматит взялся за меня как никогда прежде. Я не мог спать. Перед сном нужно пару раз сглотнуть. А я не мог глотать. Можно было бы сплюнуть, но я и сплюнуть не мог. Адская боль, как будто мои щеки, язык и горло режут лезвием бритвы, не давала это сделать. И конечно, я не мог есть. Я очень хотел есть. Меня скручивало от голода. Я еле ходил. Но каждый глоток доставлял такое страдание, что я проклинал весь белый свет. И вот в эти окаянные дни тот паренек, мой одноклассник, которому я на деле был глубоко безразличен, решил вдруг наладить со мной «дружбу». Я с самого начал увидел, что нам не по пути. Он обожал футбол и журналистику, я же всю жизнь считаю, что футбол — это срань господня, а журналистика и того хуже. Но одноклассник со мной общался. И я вынужден был отвечать на его попытки. Он еще подшучивал надо мной, когда видел, что я хаваю одни питьевые йогурты. «Перешел на жидкую пищу», — подшучивал он. А мне и вправду казалось, что я подыхаю.

В общем, этот тип меня кинул через пару месяцев, перестал отвечать на звонки и сообщения и из университета отчислился. Все мои старания соблюсти правила приличия с окровавленным ртом оказались напрасными. С тем же успехом я мог с самого начала послать его лесом. Не зря я не доверяю людям, навязывающимся в друзья.

* * *

После одного «друга» появился второй. Этот был поэт и музыкант: на гитаре играл. Он любил бухнуть, и я полюбил это дело вместе с ним. Бухали мы за гаражами в соседних с филфаком двориках. За гаражами этими все срали, и мы, упиваясь собственной ничтожностью и маргинальностью, называли это место Сральня. Этот парень был панком, он заставил вспомнить «школьные годы чудесные». С ним я упивался портвейном с кока-колой сверх всякой нормы, и у меня несколько раз начинался алкогольный психоз. Когда я ехал домой после очередной попойки, мне казалось, что современная обстановка — это галлюцинация, а сам я в XIX веке, и за мной едут гусары во главе с поручиком Ржевским. Видение было столь сильным и давящим, что я звонил этому своему «другу» и просил внушить мне, что никаких гусаров нет. Тот решил, что я совсем больной, и плюнул на меня. Не мне его порицать.

Познакомился я и с другими филфаковскими парнями. Один, как и слившийся футболист, учился в моей группе. Он был самой настоящей Игрушкой Богов. Таких людей Боги создают, чтобы показать все, к чему только люди могут стремиться. Он был как витрина Жизни. У него имелось все, о чем только можно мечтать: здоровье, сила, красота, богатство, таланты. Я понял это слишком поздно и долгие годы пытался наладить с ним отношения. С тем же успехом я мог дружить с собственным негативом на фото пленке. Впрочем, к нему все тянулись, заискивали перед ним; восторженные парни и девчонки окружали его, словно Диониса (хотя Дионис был дрыщом и постоянно умирал, а у этого фигура была как у Геракла). Этот удивительный человек излучал энергию жизни, и все хотели купаться в ней рядом с ним и забыть о *бездне*.

Этот парень сводил меня на заброшенный небоскреб на окраине Москвы, куда как раз забрались другие ребята с филологического факультета. Там я с ними всеми перезнакомился. Многие, не в пример предыдущим, стали моими хорошими товарищами. Сближаться со мной дальше определенной границы они не спешили, но это-то и хорошо. Дружба есть ответственность, и лучше сразу от этой ответственности отказаться, чем взять ее на себя, а потом предать.

* * *

От Патрика ближе к концу осени стали приходить сигналы бедствия. Внутреннее распутство, которое проснулось во мне точно так же, как и в любом мужике, внезапно оказавшемся среди тысяч баб, я вскоре после болезни переборол и ни к кому не клеился. Я дал клятву верности Патрику, и его фотография «даже» стояла на заставке моего сотового телефона. Как-то телки из группы у меня этот телефон отняли и долго в нем рылись, ибо не верили, что у меня, такого жалкого, «есть девушка».

Патрик писал в те дни, что ему плохо и он ищет смерти. Мне была непонятна его интенция, поскольку я считал, будто наша с ним жизнь только начинается. В те дни я написал лучшие свои «произведения»: оставил романистику и обратился к малым жанрам, исторгнув в свет целую плеяду скверных новеллок. Они были не более чем эпигонством по отношению к рассказам Патрика, но его высоко оценили мои духовно богатые одноклассники. По сравнению со «Странниками» это была новая ступень графомании, уже напоминавшая литературу, пусть и плохую.

Я не понимал Патрика, и в каждом моем письме прослеживалось это непонимание. Я писал, что люблю его, что он мне нужен, что я не могу без него

жить. А нужно было написать что-то другое. Мои слова он воспринимал как бессмысленные штампы, миллиарды раз повторенные (а только этим они и были). И когда последняя его надежда не оправдалась, он решил снова покончить с собой. У него хватило мудрости не делать это 2 ноября. Он сделал это 3-го.

Он вел в Интернете дневник. Я читал его. Он писал, что видел на улице букет гвоздик, выброшенный каким-то школьником по дороге на День учителя. Букет пах жизнью, он просил Патрика остаться. Но стены его дома кричали, чтобы он умирал. Табуретки кричали. Злые ангелы, поселившиеся в его голове. И Тварь, пришедшая из *бездны*. О бездне он писал не зря (вернее, зря, поскольку никто его не мог тогда понять), но не случайно. Чем четче человек воспринимает красоту, тем лучше он видит *бездну*, куда красота стремительно уходит. Не нужно верить позитивеньким болванчикам. Они или упороты, что ничего не понимают, или понимают все, только не говорят, чтобы нас зомбировать. «Позитивный» человек есть лжец. Патрик и не был позитивным. В его записях в дневнике я видел бесконечную боль и отчаяние. *Бездна* была у этого человека *в голове*.

Патрик руководствовался той же стратегией, что и в 2006 году. Он оставил себе шанс спастись, хотя и меньший, чем при первой попытке. Только теперь он не перерезал вены, а съел пачку ядовитых таблеток. И снова родители спасли его, в самый последний момент, когда он был на пороге клинической смерти. Через пару дней (которые я провел в безумном, просто адском чувстве, будто меня и всех моих близких смертельно прокляли и они все будут умирать в начале ноября), когда его откачали в реанимации, я позвонил ему. Через несколько дней его должны были отправить в психушку, очень надолго. Он просил меня не приезжать. Я послушался, и это стало очередной ошибкой в числе многих.

* * *

Как проходила «новая жизнь», на которую я так надеялся? Да примерно так же, как и старая. Это миф, что жизнь можно начать заново. А может, не миф, может, сильные люди и могут. Но я такого не видел. Не вставало у меня перед глазами примера, чтобы человек, живший по уши в говне, вдруг поднялся из него, очистился и стал нормальным. А вот обратных примеров — пруд пруди. Из нормального состояния в говно упасть очень легко. Мы все ползем, как улитки, как капли слизи или кислотного дождя, — ползем в жадную черную *бездну*.

Я-то думал, что когда мне перестали мешать, я раскроюсь и стану таким, каким хотел быть. Вот оно как. А кем я хотел стать? Писателем? Нет. В писательство я подался из эскапизма. Всю жизнь я мечтал стать нормальным человеком, обычным, тривиальным, «таким, как все», непроницаемым, невидимым в толпе. Хотел лицо чуть красивее морды гориллы. Хотел тело, чуть толще и сильнее, чем обтянутый кожей скелет. Хотел мозг, понимающий эту жизнь чуть лучше, чем куча кака. Мне не нужно ничего запредельного, выходящего из ряда вон. Друзья, девушка, работа. Способность общаться с людьми. Если я буду нормальным, то смогу добиться чего угодно. Потому что нормальный, простой, обычный человек — это сила. Мало на свете задач, которые требуют чего-то экстраординарного, гениальности, сверхспособностей. В основном все науки, все великие дела обычному человеку по плечу.

Но я не был нормальным. Я б мог попросить у гипотетического джинна, чтобы ко мне хотя бы *относилось, как к нормальному*, но в университете это было и без всяких джиннов. Люди, которые меня окружили там, не знали попервоначалу, насколько я ничтожен. Нет, кое-кто меня сразу раскусил: самые подлые и тупые натуры. Я уже писал, что наиболее близкие в плане интеллекта к зверям люди обладают уникальной способностью подмечать все чужие слабые стороны, как, например, волки подмечают больного или слабого оленя в стаде. Но университет был для быдла почти не доступен, и большинство моих товарищей и однокашников говорили, гуляли и балагурили со мной, как с равным. Они друг друга подкалывали (в том возрасте молодые люди остры на язык), толкали друг друга в шутку, поглощали невероятное количество спиртного. Но я-то не был нормален. Если нормальный человек на обидную шутку только захохочет и скажет что-нибудь едкое в ответ, то я ничего такого сообразить не мог, мне казалось, что это не шутка, а правда, и настроение портилось на весь оставшийся день. От понарошного толчка нормальный человек лишь пошатнется да даст пинка, а я падал и плакал. Выпив вина, нормальные люди веселились, я же впадал в тоску, а совсем напившись, утрачивал контроль над собою. Обида на былые унижения и недостаток внимания перла в такие моменты из моего подсознания, как говно из унитаза, в который кинули дрожжи, и я пинал на улицах автомобиля, залезал на столбы, бил бутылки, орал непристойности прохожим и делал вид, что хочу покончить с собой. Конечно, я делал так только в компании, ибо в одиночку быстро бы отхватил леща и гордыня была б смирена. Немудрено, что со многими хорошими ребятами и девчонками отношения у меня испортились. И это интeресно. Ведь в том возрасте и обстановке многие лю-

били «психов». И многие (как правило, говнопоэты и др. «креативные» натуры) «психов» из себя изображали, пытаясь снискать успех в обществе. И успех к ним приходил. «Вот псих!» — говорили барышни восхищенно. «Да, он настоящий поехавший», — подтверждали парни с одобрением. На Руси издревле любят юродивых, да вдобавок среди мещанства бытует поверье, будто все талантливые люди в чем-то ненормальны: они-де или сумасшедшие, или алкоголики, или, на худой конец, педерасты. А все оттого, что этими филистерами, жаждущими причаститься к «творческому безумству» или хотя бы узреть его, талант воспринимается как девиация. Ну да это известно. А видели ли они настоящего психа хоть раз? Ощущали ли себя в его шкуре? Представляли, как за их спиной закрывается десять прочных дверей и решеток, отделяющих дурдом от внешнего мира, как и впереди их ждет только ад в голове, безумие вокруг, уколы в жопу и расподорашенный туалет по расписанию? Ну, я кому-то из них показал, что такое «настоящий псих», и некоторые со временем поняли. А кто-то продолжил со мной общаться. Это лучшие мои товарищи. Они видели, что я ничтожен, но не плевали на меня, а напротив — защищали, насколько могли. Чтобы никто меня в шутку не толкал, не говорил гадости. Я им очень благодарен, а впрочем, унизительно это. Замечать уродство — плохо, не замечать — тоже плохо. Мне при любом раскладе плохо, и это есть судьба. «Родился уродом — терпи всю жизнь», — говорил Патрик, правда, не про меня, а про себя.

Очень портили жизнь безумные преподаватели. Таких было немного, но количество с лихвой перекрывалось качеством. Крыша у них протекала знатно, говнопоэты только позавидовать могут. Впрочем, чему завидовать? Гениальностью эти мэтры не блистали, хотя и считали иначе. Помню одну старуху, ныне покойную. Она, понятно, возненавидела меня с первого же занятия и замыслила примерно то, что сделала в начальной школе другая сумасшедшая баба-педагог, — она решила направить на меня ненависть общества. И кто знает, каких бы успехов она на этом поприще достигла, если б уготованное мне место не занял внезапно другой человек. Это была девушка, не очень общительная, не совсем по моде одевавшаяся, прямо скажем, странная, а этого людишкам достаточно, чтобы впасть в бешенство. И вот однажды случилось следующее: конкурс ораторов. Девочка та написала к нему речь, но злая старуха запретила ей выступить. Не то что там совсем плохо было. Речь как речь, не хуже и не лучше других. Но больная бабка взялась и не пропустила. Девочка же та, уж не знаю как, все же выступила на конкурсе. Ну что, казалось бы, тут тако-

го? Ан нет. Полоумная старая курица взбеленилась и решила сжить несчастную со свету. Ближайшую пару лекций она посвятила тому, чтобы публично, перед всей группой оскорблять «зарвавшуюся». Но и это еще полбеды. Истинный масштаб безумия дошел до меня, когда шизофреничная кошелка дала слово нам, однокашникам незадачливой девочки-ритора. Я думал, что хотя бы в университете меня окружают люди образованные, умные, интеллигентные, красивые и благородные. Не тут-то было. Как минимум половина баб из моей группы одна за одной стали рассказывать, насколько эта девочка отвратительна, подла и гадка. Одна бешеная захерачила речь на сорок минут, послушав которую можно было решить, что Цицерон лучший друг Катилины. Истину глаголю: людишки — это звери, они жаждут крови, они при каждом удобном случае кидаются на мясо, пьют кровь, когда ее видят, добивают упавшего и отличаются от обезьян только в худшую сторону. К счастью, не все. Узнали о той истории адекватные люди из деканата, и травля несчастной не получила развития, или почти не получила, ибо на девчонку ту телки из моей группы до самого конца обучения продолжали коситься как на прокаженную. Я же получил урок: *если у тебя паранойя, это еще не означает, что тебя не преследуют, и если все хорошо, значит, все хорошо замаскировано.*

Выводили из себя бюрократы. Особенно бюрократы в белых халатах. Имя им «медкомиссия». Ее нужно было проходить всем студентам. Располагалась медкомиссия сия в узеньком закутке, из которого вели двери в три кабинета. И через эти три кабинета каждый год должны были проходить студенты вплоть до четвертого курса и преподаватели всего университета (а это порядка четырнадцати тысяч человек). Очередь растягивалась на дни. Медкомиссию мог пройти кто угодно: прокаженный, сифилитик, наркоман, — но только не тот, у кого отсутствовала прививка от столбняка. Или еще от чего-то. Информацию о прививках «медкомиссия» получала из выписки из поликлинической медкарты. Проблема в том, что в поликлинике выписку не давали просто так — требовался запрос от «медкомиссии». Справка, чтобы получить справку. И это не все. От физкультуры-то меня после мононуклеоза освободили, чтоб печенка-селезенка не лопнула. Да вот не годилась поликлиническая справка для университета. Нужно было поставить в нее штампик «медкомиссии». Для штампика же требовался еще десяток справок. Нет-нет, я не настолько свихнулся, чтобы думать, будто «медкомиссию» учредили исключительно для издевательств над студентами. Я абсолютно уверен, что ее придумали люди, *желавшие добра.*

Ну да неинтересно все это. Это все студенты проходят, только им живется веселее, ибо они нормальные. А я жил другим.

* * *

И хотя я жил другим, возвращаться туда не спешил. Патрика лечили в психбольнице полтора месяца и должны были лечить еще, но на Новый год отпустили домой. Он хотел меня увидеть. Он мне писал, звал. Что же сделал я? Я почему-то не приехал. Нет, не почему-то. По вполне определенной причине. Не приехал я потому, что в башке у меня вместо мозгов куча кала. И не просто кала, а кала, до болезненности тщеславного. Именно тщеславие не пустило меня на Новый год в Ростов. Мне, видите ли, было неприятно думать, что я так мало для Патрика значу: что он, несмотря на меня (Меня!), все ж таки решил покончить с собой. «Как так? — не понимало тщеславие. — Разве не несу я счастье, за которое он должен благодарить меня по гроб жизни?»

Я не мог ответить по-другому. И мой отказ приехать на Новый год не ошибка, а напротив — часть вселенской работы над ошибками. Можно было бы сказать, что проворонил я счастье, да как его проворонишь, если оно изначально предназначалось не мне?

И все ж сильны были волны, поднятые на поверхности реальности моей ненаглядной флуктуацией. Вытолкнули они меня на берег из моря говна и еще раз. Такие уж у нас с Патриком были отношения. Пунктирные, что ли?



Здесь могла быть наша судьба.

Не могу сказать, сколько его клали за это время в сумасшедший дом. Раза два — точно. Может быть, три. Сведения от Патрика поступали странные, как и всегда. И, как всегда, тревожные. На графоманском сайте появились две его новые повести: «Последний приют» и «Кома». Это были гениальные произведения. Мало кто из великих писателей мог изобразить бездну так, как Патрик в этих двух повестях. А все потому, что он знал, о чем пишет. И все в них было правдой, хоть в это и не хотелось верить (*Illud utinam ne vere scriberem*). И в них было зашкаливающее количество той красоты, которую ищут на темной стороне бытия и за которую я сам полюбил творчество Патрика. Я видел эту красоту и в его дневнике.

После психушки он стал употреблять наркотики чаще. Преимущественно DXM. В дневнике я увидел его фотографию под этим веществом. Он был пре-

краснее, чем когда-либо. Он сжигал себя, и пожиравшее его пламя творило невероятное. По всей видимости, к тому он и стремился. Он стоял на коленях, на фоне памятника, в растянутой майке и старых джинсах, руки его были все в синяках после уколов в дурке, а из-за пояса торчала компьютерная мышь — его талисман. Патрик очень любил мышей и хотел написать про них роман-антиутопию под названием «Мышеловка».

В психушке ему назначили инсулинокоматозную терапию. Это, наверное, самый жестокий метод лечения после лоботомии и электрошока (которые в России запрещены). Пациенту ставят капельницу с инсулином, который поглощает сахар в крови до тех пор, пока человек не впадет в состояние комы. Затем больного возвращают к жизни уколом глюкозы. И так несколько раз. Или несколько десятков. Пока не разрушатся тонкие связи в голове, в коих, как верят врачи, и живет шизофрения. Несмотря на встречу с замечательным психиатром, меня еще не покинуло мещанское предубеждение против психиатрии как таковой. Я думал (и теперь иногда думаю), что немало там маньяков и садистов. Если маньяки и садисты есть в университете, почему б им не быть в психбольнице? Но в случае с Патриком врачи, конечно, *желали добра*.

Как показывал графоманский сайт, овощем Патрика не сделали, писать он не разучился. Но что он испытал? Кем стал после пережитого?

Патрик сказал, что теперь он не Патрик. Он Сеня. И обижался, когда я называл его Патриком. Говорил, что я ничего не понимаю. И так и было.

Когда мне было восемнадцать,
Я был сплошной идеалист,
Я чистый был — не подкопаться! —
Как белый типографский лист.

Когда мне было восемнадцать,
Я был ходячий анекдот.
Любил я выпить и подраться,
И не было других забот.

Когда мне было восемнадцать,
Я очень много говорил;
Смеялся — я умел смеяться,
Умел любить — и я любил.

Когда мне было восемнадцать,
Я был всему на свете рад...
Когда мне было восемнадцать —
А это было год назад.

Из дневника я узнал, что у него «появился парень». Я не впал в уныние, ибо знал, что под «парнем»

в случае с Патриком можно понимать кого угодно, только не парня. Имя Фриц меня, однако, насторожило.

Сдав летнюю сессию, я направил стопы своя в самый лучший город на Земле.

Лето 2008-го. Самый ад.

* * *

Я опоздал на два часа. Тем самым я опоздал три раза по два часа. А через это не успел на Праздник Жизни.

Было это так. Я долго возился перед отъездом и приехал на вокзал, когда мой автобус уже ушел. Следующий отправлялся спустя два часа. Я сел и стал убивать время. И, убивая, думал, что вот оно, странное умножение: сейчас мне нужно томиться на вокзале — и это будут одни два часа. Когда я сяду в автобус и до Ростова останется два часа, я снова буду томиться мыслями, что мог уже быть на месте, с Патриком. Вот вам и два раза по два часа. И это ерунда по сравнению с третьим разом.

В Ростов я прибыл на следующее утро. Патрик, как и в прежние встречи, ждал на вокзале, но если бы прежних встреч была тысяча, не надоело бы мне приезжать в эту жару на эту площадь и видеть его. Каждый раз происходил как будто впервые, и я волновался и удивлялся, узнавая его. Я забывал его голос за время разлуки, а лицо у него всегда разное было (возможно, из-за частой смены причесок). Что до фигуры, то в воспоминаниях Патрик представлялся мне очень маленьким, в то время как ростом он был лишь чуть-чуть ниже меня. Это из-за худобы. Патрик весил сорок три килограмма и мечтал похудеть до сорока, но у него все не выходило, и он называл себя «жирным».

Теперь у него были черные волосы с прямым пробором, немного не доходящие до плеч. И «фирменная» клетчатая рубашка с длинными рукавами. Рукава он при случае закатал, чтобы я рассмотрел синяки от капельниц.

Когда я увидел Фрица, подоспевшего к нам через полчаса, то не сразу понял, девчонка это или пацан с гормональными нарушениями. Оказалось, девчонка, только очень уж похожая на наркоманку-героинщицу. Не в обиду Фрицу это сказано — меня самого принимают за героинщика из-за невероятной худобы, синих ногтей и вырожденческих черт лица. Что за человек был Фриц, я так и не понял. Хороший он или плохой, что обо мне думает, чем живет. Патрик с ним спустя несколько лет рассорился, а до того они вполне успешно были «парнем и девушкой» (или «парнем и парнем», или «девушкой и девушкой»). Жара стоя-

ла вполне себе ростовская. Мы шатались по городу и встретились с Метлой. Метла — это лучшая подруга Патрика. Девчонка хорошая, но Патрик мне ее не показывал после того, как я ляпнул, что она-де «в моем вкусе». Я тем самым хотел лишь сказать, что у нее все в порядке с внешностью, но получилось как обычно.

И стали мы шататься вчетвером, не считая воображаемых друзей Патрика. В один злосчастный момент кто-то завернул в сомнительного вида аптеку и купил сиропа от кашля с этим самым DXM. Предубеждение мое против наркотиков тогда еще не прошло, и я заявил, что упарываться этой отравой не стану. Патрик как будто бы расстроился, или мне показалось. Он уважал мой выбор и настаивать не стал. Отчего-то принять наркотик он решил у себя в комнате.

Мы пришли к нему домой. Родителей не было. Я валился с ног от усталости и решил вздремнуть часик-другой. Посмотреть на угондошенных дексом друзей, конечно, тоже было любопытно, но не настолько, чтобы вставлять в глаза спички. И завалился я на диване в гостиной. И третьи два часа дали о себе знать.

Когда сон отпустил меня, события прошли точку невозврата. Минуту все было тихо. За эту минуту я успел проснуться. Потом со стороны прихожей и комнаты Патрика раздался грохот и крики.

Он уверял, что принимать наркотики дома совершенно безопасно, и я ему поверил. Он говорил, что родителям до лампочки, что он взрослый и все ему можно. Я думал, он знает, что говорит. Куда делась моя спасительная паранойя?

Родителям было совсем не до лампочки. Пинками под зад Валентин вышвырнул Метлу и Фрица со двора. Я, признаться, перетрусил, ибо спросонья был упорот не хуже них, а выглядел совсем паршиво. Но Валентин, в каком бы бешенстве он ни находился, распознал, что я не под DXM. Хотя черт знает, что ему почудилось в первые мгновения. Да нет, я знаю что. Мне это аукнулось.

Отведя взгляд от меня, он швырнул Патрика на пол и стал бить ногами. Мы со Снежаной с трудом его оттащили. Взяв себя в руки, он ушел на улицу. Я последовал за ним, а Снежана поволокла Патрика в ванную комнату.

Валентин сидел за столиком под навесом во дворе и курил. Руки его тряслись. Я рассказал ему, что видел и знал. «И что будет дальше?» — «Только больница, теперь уже надолго, возможно, на годы».

Патрик плакал в доме на коленях Снежань. Когда он узнал, что снова вернется в больницу, с ним случилось страшное. То самое страшное, которое бывает, когда кричишь и не можешь докричаться до человека

рядом. Снежана была непреклонна: она звонила по телефону 03. Я просил ее не делать этого. Тщетно.

Несчастливого Патрика, у которого не проходили галлюцинации, забрали санитары. Снежана уехала с ними.

Я все это видел.

* * *

«Ты будешь дураком, если уедешь сейчас в Москву», — сказал Валентин, заперев калитку. Он что-то решил, и коварная судьба опять подавала мне надежду. Забегая вперед, скажу, что надо было уезжать в Москву из этого ада.

«Я хочу выпить стакан водки», — сказал Валентин, усаживаясь все на тот же стул во дворе. Я сел напротив. Валентин налил по стакану, и мы выпили. Это был первый раз, когда я хлопнул 200 граммов залпом. Удалось мне это без особого труда: водка попалась знатная. Закусили половинкой помидора. Во взгляде Валентина появилось уважение. Алкоголь здорово социализирует. Надежда, что произошло недоразумение и Патрика не упекут на несколько лет, немного окрепла.

Мы трепались об университетах, бабах, работах, военной службе, людishках, наркотиках, подлости, врагах, Москве, Ростове и прочем. Валентин говорил, что приезжал на день в Москву, когда Патрик туда убежал, но, так ничего и не сделав, уехал обратно. Я сказал, что не люблю Москву: слишком много народа, шума и суеты. Ростов, сказал я, мне куда больше нравится, да и в целом Юг России поприятней Севера будет. Валентин поведал, что служил во флоте и было ему там очень весело и бодро. Он не понимал, почему я не хочу идти в армию. Я ответил, что послужить не прочь, но образование-то получить надо, благо первый курс уже окончен. А после университета почему б не отдать родине долг, особенно если часть попадется нормальная? Валентин отмахнулся и заявил, что это все миф о «плохих» частях. Нормальному мужику в армии везде хорошо будет, а «плохие» части — выдумка мамок, да и я на это повелся, так как с мамкой живу. Я возмутился и ответил, что многие мои товарищи из университета отслужили, и служба их прошла нормально, и моя пройдет не хуже. «Сколько раз подтянешься?» — недоверчиво скривился Валентин. Его бесило, что я дистрофик. Но подтягивание было моим козырем, ведь я почти ничего не весил, а на турнике проводил много времени, теща себя иллюзией, будто смогу через это дать отпор ублюдкам; водка же удесятряла силы. Впрыгнув на газовую трубу, я подтянулся пятнадцать раз. Валентин хмыкнул уже с совсем другой интонацией, и мы накатили еще. «А ты

видел, как я дом ремонтирую? Пойдем покажу», — и он устроил мне мини-экскурсию по отремонтированным и находящимся в процессе комнатам. Я похвалил результаты, но высказал осторожное замечание по поводу лепнины на потолке гостиной. «Стоит ли ее менять на подвесные потолки?» Валентин обещал подумать, нельзя ли сохранить старинные узоры или, может, как-то их осовременить. Я также выразил тревогу по поводу наклонившегося после падения бомбы фасада. Валентин заверил, что принял нужные меры, трещины больше не ползут и обрушение фасада не грозит. Вернулись во двор. Бутылка почти закончилась, достали вторую. Валентин признался, что он закодирован. Был. До сегодняшнего дня. Махнул рукой, налил. Спросил, читал ли я «Книгу психонавта». Я-то читал, но ему сказал, что только слышал. «А я вот читал. И знаешь что? Написана она профессионально очень. Не школьники это писали. И не наркоманы. Это писали люди, умеющие писать. Вопрос только, с какой целью? Ничего мне в голову не идет, кроме одного. Это психологическое оружие, понимаешь? Кто-то из-за пределов России распространяет эту херню среди наших детей. Они знают, что дети — наше будущее. И они хотят у России будущее отнять». Я помолчал, подумал и вспомнил, как это называется. «План Даллеса», — сказал я Валентину. Тот пожал плечами, отмахнулся от чего-то. Я не стал ему рассказывать, что писать — это не рисовать, не играть на скрипке, и «профессионально писать» в наш компьютерный век может каждый второй девятиклассник. Тем более журналюхи своей безграмотностью и некомпетентностью опустили понятие «профессионализм» до уровня унитаз. Валентин бы не поверил. Да и слышал я уже то, что он говорил, только от другого человека. От своей матери. Она тоже считала, что на интернет-форумах пишут на редкость «профессионально». До сего дня профессионально могли писать лишь агенты ФСБ. Теперь к ним добавились недруги России.

«А ты никогда не задавался вопросом, — сказал Валентин, веселея, — как это вот я, несурзанный пьянчужка-матрос, такую красотку в жены получил?» Я попросил поделиться премудростью. «А нет тут премудрости никакой. Я ей силу показал. Женщина в мужчине силу любит. Ей нужен орангутанг. Понимаешь?» Я выразил удивление. «Нельзя с женщинами на их языке говорить, — объяснил Валентин. — С ними надо говорить по-мужски. Покажи Аньке, что ты мужик». Я сказал, что Патрик, как мне кажется, и без этого не сомневается, кто я. Тогда Валентин напомнил, что мы в прошлом году спали на разных кроватях. А в этом году, намекнул он, я мог бы отнять у нее декс, раз уж я такой хороший и правильный.

Вернулась из больницы Снежана. Ей было неприятно, что муж принялся за старое, но делать было нечего, такой уж день. Выпила водки и она — за компанию.

Валентин прославлял силу. Я сказал ему, что он, по всей видимости, прав, и женщины любят силу, но боются боли. Снежана поддержала меня. Я подумал, что это хороший знак. Но я был слеп. Она говорила приятные вещи, а сама смотрела на меня как на говно. А у Валентина в голове просто-напросто был маятник, который мне сегодня повезло качнуть в свою сторону.

«Ты знаешь, — спрашивал он, шурясь, — почему я длинные волосы не люблю? Потому что в драке их на кулак можно намотать». Я напрягался, а он подмигивал мне, ревел: «Орангутанг!» — и прыгал, хлеща водку из горлышка.

Мы трепались до поздней ночи, пока не начали заплетаться языки.

* * *

Просыпались они часов в семь; пришлось рано проснуться и мне. Много вынужден я был делать в своем и Патрика аду, и подъем спозаранку — сущая мелочь, хотя в то утро я еще не вполне протрезвел.

Они позавтракали вместе со мной и стали думать, что делать дальше. Им сложно было поверить, что после стольких месяцев самого интенсивного «лечения» Патрик не «выздоровел». Они включили его компьютер, стали смотреть рисунки Патрика, материалы из Интернета. Там не было ничего, что могло бы им понравиться. Чем дольше они смотрели это, тем сильнее росло в них чувство собственного бессилия *понять и повлиять*, а людьми они были властными и привыкли, что все им понятно. Когнитивный диссонанс был для них чувством новым и пугающим. У них было несколько готовых решений, но под данную ситуацию подходило только одно.

Уничтожить.

«Надо покончить с этой мерзостью раз и навсегда, — сказали они друг другу и мне. — Мы были слишком добры, слишком мягки, распустили ее, избаловали. Теперь мы не будем такими. Мы с этим справимся».

Мне оставалось только беспомощно взирать, как они вытаскивают из ящиков, из шкафа, из-под кровати вещи, ценность и значение которых им были не ведомы. Они сваливали это в кучу посреди комнаты, а когда спрятанных вещей не осталось, они стали перетаскивать кучу во двор. Кое-что, что казалось им *нормальным*, они оставили, но этого было совсем немного. Они облили кучу вещей Патрика бензином и подожгли, чтобы дьявол покинул их жилище. Они сожгли

не все. Кое-что я спрятал в своем рюкзаке, пару фотографий и рисунков закинул на шкаф. Я рисковал. Если бы это заметили, они бы поняли, что я тоже служу дьяволу, похлеще Фрица с Метлой и Даллеса с Бжезинским. Кое-что сжечь они не посмели. Они спрятали это далеко-далеко, а вечером Валентин съездил куда-то на машине и вернулся с сейфом. В него они заперли вещи, на которые не поднялась рука, в основном уцелевшие от костра рисунки.

«Ты можешь уничтожить все, что находится на этом компьютере? — спросили они. — Отформатировать?» Я должен был сказать, что не могу, но они уже видели в прошлом году, когда я переустанавливал операционную систему на их ноутбук, что я могу. И мне пришлось согласиться. Форматирование отложили на следующий день, а тогда мы, поздно вечером, уехали с Валентином во дворе. Он был мрачен, задумчив. О чем он думал? Он сказал, о чем.

«Ты гулял по нашей улице? — спросил он, глядя на огонь сигареты, которую держал в руке. — Видел, что там, в конце?» Я задумался. Вечер был длинным и тяжелым, над городом висело марево, пахло дымом, как будто бы костер, где пытались уничтожить Патрика, еще не вполне потух. Только тогда мне пришло на ум, что улица у них и вправду донельзя странная: вначале идут дома как дома: пусть старые, пусть потрепанные временем, — но если идти дальше, начинаются одни развалины, свалки, странные сооружения, вроде гаража в три этажа высотой, а потом и вовсе какие-то чахлые деревья, старинные полуобвалившиеся лестницы, как во сне, а дальше спуск к Дону, заброшенный завод, прогнившие до скелета ангары, болота, из которых торчат кривые-косые сваи, и цех с Мыслящей Лужей. Дорога идет и еще дальше, но уж туда мы не ходили. «Там разрушение, — сказал Валентин, который чувствовал то же, что и я. — Древнее. Страшное». Клянусь, я не выдумываю.

Ночь была тяжела и душна, как и вечер. Я лежал в комнате Патрика и не мог уснуть. Впервые я оказался так далеко от дома без друзей, в чужом, большом и почти пустом доме с высоченными потолками. Я слушал стрекотание кузнечиков, но ночь шла, и кузнечики смолкли. «Почему они смолкают?» — думалось мне. Самое время играть на скрипке: ни тебе машин, ни людшек. Неужели и им в эти глубокие ночные часы становится страшно?

Патрик часто говорил, что дом его полон кошмаров. «Когда-нибудь, — писал он, — я разберу свой дом на кирпичики и раздарю их моим друзьям. Тогда у каждого из них будет по личному кошмару, а я останусь без дома, который ненавижу». Как-то так он писал. И я, лежа на его кровати, начинал понимать,



как можно ненавидеть фамильный дом, старинный и красивый. Кошмары лезли мне в голову, хотя я был далек от сна. Я представлял себе всякие жуткие вещи; я давно не считал безумие братом творчества, но тогда я начал его еще и бояться. И впервые ощутил близость *бездны*. Она разверзлась где-то там, где было страшное, древнее разрушение, как будто бы далеко от моей кровати, но — черт побери! — переместись эта *бездна* в другую галактику, мне б засыпало спокойнее.

* * *

Не помню, ни черта не помню. Прошел день или два. Они все не решались распотрошить компьютер Патрика. Наконец решились. Снежаны не было дома, а может, она спала. Мы с Валентином включили компьютер. Валентину хотелось напоследок еще покопаться в хранящейся на нем информации. Он плохо знал компьютеры, но у него уже начала развиваться интернет-зависимость, как и у всех нас. Мы открыли браузер. Валентин стал изучать его функции, наткнулся то ли на «закладки», то ли на список адресов наи-

более часто посещаемых сайтов. Первое место там занимал виртуальный дневник Патрика. Я прочитал вместе с Валентином самую последнюю запись, и земля начала уходить из-под ног.

«Я сходил на рынок и купил кольцо. Осталось найти катетер и проколоть ухо, тогда я стану готичным. Но это все потом, сегодня поздно уже. Нужно рано лечь, ведь завтра с утра приезжает Макс. Встречу его на вокзале, и пойдем потом кушать таблетки». Не ручаюсь за точность цитирования.

«Кушать таблетки...» — повторил Валентин вслух. — «Я не ем таблетки», — ответил я ему. — «А тут написано, что ешь», — сказал он, глядя на меня взглядом раздевающим, отвратительным, убийственным. — «Я против этого, поймите. Я в жизни не принимал наркотиков и очень не хочу, чтобы ваша дочь их принимала». — «Мне опять хочется водки. А может, и не водки».

Он дернулся к выходу из дома, чтобы закурить, но на улице хлынул дождь. Впервые я видел дождь в Ростове. Это был ливень, настоящий потоп. Валентин курил в открытую дверь, а я сидел на корточках, где-то у его ног, совсем без сил, чувствуя, как в сотый

раз меркнет в конце туннеля свет и лижет мои пятки пламя ада.

«Я не могу никак доказать вам, что говорю правду. Вы сами вольны решать, верить мне или нет».

Валентин все курил, а лица я читать не умел и не мог сказать, что он думает. И дождь все лил, и лил, и оглушающе стучал по пластиковому навесу над столиком, где мы пили водку. Наконец сигарета кончилась.

«Пойдем, уничтожим это. Сейчас».

И пошли. Он сидел за моей спиной. Следил, как я захожу в BIOS, выбираю загрузку с CD-привода, вставляю в дисковод компакт-диск с операционной системой. Если б не дневник, если б не эта чертова запись, если б не спонтанное желание непонятого мне человека порыться в чужом белье, я бы придумал хитрость. Я бы отформатировал только один жесткий диск и выбрал бы «быстрое» форматирование, после которого сравнительно легко можно восстановить все данные. Но он сидел за моей спиной, постоянно задавал вопросы, контролировал, что я делаю. Он ни черта мне не верил, вот в чем беда. Я мог бы соврать, но он уловил бы ложь. Он хорошо меня чувствовал. А я его чувствовал плохо, но и то не мог не видеть, какая ненависть готова была в нем вскипеть. И таким вот образом в дождливый долгий день я собственными руками уничтожил то, что сам не смог бы создать и за тысячу лет.

Я не знаю, что бы стало, уничтожь кто информацию на моем компьютере. Валентин видел, наверное, фантастические фильмы, где человек слился с машиной в единое целое. И Валентину со Снежаной это казалось невозможным, и противоестественным, и маловероятным из-за этой противоестественности. Они и представить себе не могли, что мы, следующее поколение, уже несколько лет как те самые «киборги», полуплюди-полуЭВМ. Да и создавали ли они в жизни хоть что-то, что можно было бы хранить на компьютере?

Часть моего сознания давно записана на жесткий диск. Большая часть. И лучшая. Особенно теперь, когда биологический мозг стал сдавать. Там результаты многих лет упорного, хотя и бесплодного труда. Там крохи счастья, которые чудом уцелели от *бездны*. Там то, что вдохновляло меня и давало подобие радости и надежды. Я не могу жить без компьютера. Как и Патрик. Я надеялся только на то, что Патрик сохранил важные данные где-то еще. Я всегда сохранял. Я параноик. И Патрик говорил, что он параноик. Он обязан был делать backup.

От содеянного нами Валентин пришел в ужас. Он слегка отошел и заулыбался, лишь когда заново установленная операционная система загрузилась. Но когда я в ответ на его вопрос сказал, что удаленные данные не вернуть, вновь примолк. Побледнела и

Снежана, когда вернулась, и мы ей сообщили. Они не были настолько глупы, чтобы совсем уж не понимать масштаб катастрофы.

Они решили скрыть от Патрика свое преступление, и опять посредством меня. Я должен был замкнуть в компьютере провода, чтоб он сгорел. Валентин пообещал, что поработает над электрощитком в доме, чтобы и там «попыхнуло», и создаст иллюзию несчастного случая. «А потом, — говорил мне Валентин, — мы купим Тане новый компьютер, дорогой, хороший. На старый-то она давно жалуется. Заберем ее из психушки, поедем на море все вчетвером». «Очень хочу на море», — говорила Снежана.

Я все сделал, как они сказали, ведь я *хотел добра*. А уж как *хотели добра* они!..

* * *

После дождя улицу Патрика размыло, и на свет показались куски асфальта, о которых он мне рассказывал год назад. Вместе с кусками появились и неожиданные гости: камни и куски бетона, которые грязевые потоки принесли с вышерасположенных улиц. В неожиданных местах образовались ямы. Проехать по улице стало возможно только на автомобиле-внедорожнике; у большинства же жителей в наличии имелись лишь обычные легковушки (за исключением одного хитрого дедушки, приберегшего со стародавних времен ЛуАЗ-969М, похожий на маленького сердитого ежика). Вечером следующего дня все автовладельцы вышли на улицу с лопатами и принялись ее чинить. Вышли и мы с Валентином. Я надеялся, что совместный труд нас сплотит. Я чинил Ростов и пел про себя:

Этот город самый лучший город на Земле.
Он как будто нарисован мелом на стене:
Нарисованы бульвары, реки и мосты,
Ярко-желтые трамваи, розовые сны.

На следующий день Валентин обещал свозить меня к Патрику. Он выполнил обещание.

Снежана поехала с нами.

Психушка находилась за городом, возле деревни Ковалевка. Когда мы въезжали в нее, я почувствовал себя оберштурмфюрером СС, прибывшим с визитом в Освенцим. Я описал уже государственную психиатрическую больницу. Ковалевка выглядела так же с поправкой на масштабы воровства ростовской администрации. Корпуса больницы не ремонтировались годов с 30-х. Часть из них была из дерева. Кое-какие покосились. Пожар мог вспыхнуть в любой момент, а при пожаре в психушках всегда гибнет много народа,

так как персонал не готов к организованной эвакуации опасных пациентов и до последнего держит их взаперти.

Если в московском дурдоме царил антисанитария, то тут была просто помойка. Патрик рассказывал, что больше всего на свете боится маленьких лысых женщин. Пока мы ждали его привода, этих завшивленных, пускающих слюни мадам прошло мимо нас десятки. Я тоже стал их бояться.

Патрика, хвала Ктулху, не обрили, только накачали дерьмом по самое не могу. Еще б его не накачали! Уж я-то знал, какой ненавистью преисполняются безграмотные врачи, когда пациент демонстрирует симптомы неизвестной хвори и привычными терапевтическими методами исцеляться не намерен.

Патрик висел у меня на плече, и рыдал, и умолял, чтобы его отсюда забрали. Я смотрел на Снежану. Мне сложно было представить, что испытывает мать в такой ситуации. Понятие «мать» слишком обобщено: совсем разные люди могут ему соответствовать. Есть индивидуумы, которые скорее заклеят своему отродю очко суперклеем, чем будут слушать его рев. Есть те, которые падают в обморок, стоит вскочить прыщю на носу их чада. К какому полюсу была ближе Снежана, я не скажу.

Мы уехали из больницы подавленные. Я видел, как на Снежану и Валентина повлияло увиденное, но они не сдавались и гнули свое. Возможно, в тот момент (именно в тот, когда мы только выехали за ворота психушки, не раньше и не позже) я понял, что они чувствуют. Единственная дочь принимает наркотики, лечение не помогает, что делать, непонятно, лечить дальше жалко. Любого человека можно понять, или, по крайней мере, почувствовать то же, что он. Только вопрос: кому это на пользу пойдет?

* * *

Узнав телефонные номера Метлы и Фрица, я попытался выйти с ними на связь. Я не знаю, чего хотел от них добиться. Скорее всего, подтверждения, что они толкают Патрика *в бездну*. В школе мне привили сознание, что бывают-де *плохие друзья*. Которые спаивают, подсаживают на наркотики, подталкивают к преступлению. Позже-то я узнал, что это не так. Что все мы, общаясь, друг друга на дно тянем. Позже — но не тогда. Тогда надо мной довлел стереотип, который подтачивался фактами, но оттого лишь сильнее меня мучил, как любая концепция, давно человеку привычная и вдруг поставленная под сомнение.

Фриц отвечал охотно, но конкретное время встречи не называл. Ему тогда было лет шестнадцать, а то

и пятнадцать, а как на подобные событияотреагирует человек в столь раннем возрасте, мне сказать сложно. Едва бы я сам повел себя адекватно серьезности ситуации. Ну а Метла (ее Юля звали) была поговорчивее, и в тот же день, изложив в телефонном разговоре суть дела, я был приглашен в гости.

От дома Патрика до Юли идти от силы двадцать пять минут. В прошлом году мы много гуляли по Ростову, однако роль Патрика как талисмана была мной преуменьшена. Пройдя же по людной улице и три раза услышав «Э, постригись, пидорас!» и два раза «Слышь, дай денег!», я вернулся из радужных грез в суровую реальность и куда лучше осознал помощь, которую оказывает красивая женщина в таких, казалось бы, обыденных мероприятиях, как прогулка по улице.

Юля жила в ветхом дореволюционном двухэтажном доме без канализации, разделенном на несколько коммунальных квартир. Мы сели на балконе, поддерживаемом от обрушения кривыми, ржавыми балками. Я рассказал Юле, что произошло после того, как Валентин выгнал их с Фрицем. Про Патрика в дурдоме и отформатированный компьютер. Юля улыбалась. Она попросила меня не расстраиваться и не впадать в уныние. Она была рада, что я есть у Патрика, ибо переживала за него как подруга. В дурдом она когда-то приезжала, знала, как там хреново. «Мы вытащим оттуда Патрика, всенепременно», — заверила она меня. Насчет компьютера она тоже попросила не обламываться. Есть, сказала она, программы, при помощи которых можно восстановить данные с отформатированных жестких дисков. Давно я не сталкивался с таким добрым и настроенным на оптимизм человеком. Даже странно, как Патрик с Юлей дружил. Вот я не такой, как Юля, и притом пытаюсь под Патрика подстраиваться, а Юля не пытается, и все равно они друзья.

* * *

Я спросил у Снежаны: знает ли она, что ее дочь необычна? Я был в дурдоме, сказал я ей. Я видел, какие там лежат люди. Разные. Но все больны. Каждый ли психиатр знает, где кончается болезнь и начинается экстраординарность? Не проще ли отвечать на вопросы по заранее заготовленным ответам, которых всего несколько? Сталкивались ли психиатры с таким явлением, как Патрик? Думаю, что нет. А насколько способны они отделить творчество от безумия? Да и входит ли это в их задачи?

Обо всем этом я поговорил со Снежаной. Она как будто была согласна, что Патрик особенный. Нет, она не считала особенным то, что несколько дней назад сожгла на костре. Как и любой матери, ей должна

была льстить лишь сама абстракция, что дочь-де исключительна. Проявления же исключительности ей не льстили ничуть. «Да, у тебя есть способности, но прикладываешь ты их не к тому», — вот как обычно говорят в таких случаях родители детям.

Я не добился от Снежаны ответов на вопросы, которые задавал: наш разговор сам собою оборвался на полуслове. Эта недоговоренность дала мне новую надежду, столь же иллюзорную, как сотни прежних.

Если задать мне вопрос в конспирологическом или в фаталистском ключе, я отвечу «да». Да, я считаю, что судьба надо мной издевалась. Надо было валить в Москву из этого ада.

Пару дней спустя Валентин мне подмигнул. Да так подмигнул, что я всю ночь не спал. Слушал опять кузнечиков. Долго и внимательно. С удивлением обнаружил, что стрекочут они неравномерно. Они все-таки живые создания, а не автоматы. Они поиграют-поиграют — и устанут. Будут играть медленнее, с вальса на сонату перейдут. А кто-то из оркестра вообще играть прекратит. Видимо, женщина пришла.

Так я и не спал. Утром встал раньше всех, зная, что предвидится очень важное. Ни свет ни заря поехали мы с Валентином в психушку. Снежана спала, хотя было девять утра.

«Знаешь, почему она с нами не поехала?» — спросил он.

Я сидел рядом с ним в машине и догадывался, но не говорил.

«Теперь все зависит от нас. Я говорил тебе про силу. Я говорил с ней на ее языке. Теперь мы должны эту силу проявить. Если не проявим — ответственность полностью ляжет на нас. Не на нее».

Не зря ее не было, когда мы жесткие диски форматировали.

«Если ее отпустят, не должно быть ничего. Никаких стрессов, никакого Интернета, наркотиков, резанья рук. Даже алкоголь и сигареты надо исключить».

Я кивал.

Мы въехали на территорию Ковалевки, оставили машину возле покосившегося белого барака и вошли в царство маленьких лысых женщин. Валентин беседовал с психиатром Патрика больше часа. Я ходил между шкафами в коридоре приемного отделения и ждал. Наконец Патрика отпустили.

Это должно было быть прекрасно: сидеть ранним летним утром, дрожа от прохлады, на заднем сиденье машины, мчащейся с огромной скоростью, и обнимать человека, олицетворяющего для тебя самую жизнь, — человека, для спасения которого ты приложил все мыслимые усилия и который был наконец спасен. Я обязан был испытывать счастье. Но я почему-то его не испы-

тывал. Почему-то я знал, что не стоит пускать слюни и восторженно прыгать. Что безосновательно это.

По всей видимости, родителям Патрика было стыдно. Я бы сказал, что это хорошо, если бы это не было так плохо. Не стоит думать, будто людишки не испытывают угрызений совести. Еще как испытывают. Абсолютно все, даже самые тупые. Вот только какой в этом смысл? Я хорошо помню, как в начальной школе жаловался на ребят, которые меня чмырили, учителям. Учителя ловили их и делали внушение: «Не стыдно тебе его бить? Он же маленький! Он же слабее тебя!» И мелким ублюдкам было стыдно. Я видел это. И чем более стыдно им было, тем сильнее они меня чмырили впоследствии.

Снежана с Валентином повезли нас вечером того же дня на «пикник», на другой берег Дона, примерно туда, где мы сидели год назад. Только пива мы не купили (психиатры запретили Патрику пить). И мы сидели с пепси-колой на замусоренном, заросшем бурьяном пляже, двое маленьких, слабых. Патрик начал петь. Он не умел петь и знал это. Он пел песни группы «Сектор Газа». Я подхватил. Я тоже не умел петь и тоже это знал. Мы пели скрипучими голосами и зашли по щиколотку в Дон: так, что подводное говно засосало нашу обувь, а родители смотрели на нас как на абсолютно поехавших.

* * *

В дурдоме психиатры так напичкали Патрика говеными лекарствами, что следующие несколько дней он валялся на диване, словно овощ. В эти суровые дни он более чем когда-либо нуждался в заботе и потому спал со Снежаной, чем меня уязвлял (как-никак Снежана ненавидела его, а он этого не замечал и, вопреки собственной философии, в которой она была Гитлером, искал у нее прибежища). Мы с Валентином в это время смотрели привезенный мною из Москвы диск с мультиками про Бивиса и Баттхеда. Это мой любимый мультфильм: в нем я вижу собственное детство, нас с Саньком. (Чур, Бивис это я: ведомый и всеми чмыримый.)

Не меньше, чем перед телевизором, сидел я перед Патриком на кровати. Тот лежал с опухшим от химии лицом, весь в холодном поту, и спал нездоровым сном, «не дарующим отдыха и сновидений». Иногда Патрик просыпался и просил к нему не приставать. В такие моменты я чувствовал себя большим ублюдком. От всего этого страшно хотелось нажраться.

Я стал пьяницей очень давно. Я стал им задолго до того, как впервые попробовал спиртное. Уже лет в десять фантазия позволила мне представить произ-

видимый им эффект, и я грезил, как божественная амброзия освободит мой мозг от разрушительных мыслей. Я искал ее, но в то же время и страшился. Перед глазами моими стоял отец, страшный алконавт. Я очень боялся стать им или кем-то еще хуже. В школе меня учили, что бухло — это зло, наркотики — это зло. Под влиянием этих проповедей я впал в другую крайность: стал избегать своего друга Санька и его тусовку, где пили и принимали наркотики. И что в итоге? Ни Санек, ни кореша его алкоголиками не стали. И наркоманом не стал никто. Да, они пьют пиво по пятницам, даже и водку, покуривают мягкий, при случае угощаются и спидами, и грибами и индейскими травами. Все повзрослели, создали семьи, родили детей, приобрели вес в обществе. А я, чуравшийся их, сижу по уши в говне, один, никому не нужный, и бухаю по-черному. Каждая страница тут — это выпитая бутылка пива, или кружка медовухи, или стакан вина, или рюмка водки.

Решил я купить на завалившуюся в кармане мелочь пивчанского и пойти с ней за советом к Мыслящей Луже. Мелочи хватило лишь на пол-литра низкосортного эндемика под названием «Дон». С ним я отправился в заброшенный цех, где произошел у нас с неантропоморфным разумом долгий и тяжелый диалог.

«Ну ты только представь себе это, — говорила Мыслящая Лужа, — вот Патрик оправится от лекарств, захочет написать о случившемся в дневнике или просто посмотреть, что за прошедшие дни в Интернете нового появилось. Включит он компьютер — и что?»

«И пойдет дым, — сказал я. — Посыплются искры. Патрик очень испугается, потом в отчаяние впадет».

«Впадет, — булькнула пузырями Лужа. — А тебе придется удивиться. Придется проклинать энергетиков. Поддакивать вероломным родителям. И всю оставшуюся жизнь лгать, лгать, лгать. Ты готов на это? Готов такой крест на себя взвалить? Не отвечай мне. Ответь себе самому. Только честно».

Я ответил.

* * *

Пиво я тогда не допил, уж больно у него качество хромало. Где-то полбутылки с отвращением проглотил, а остальное заткнул пробкой и в холодильник на черный день спрятал. От пойла заболела голова: я лежал, пытаюсь заснуть, и по традиции слушал кузнечиков. И чего они так радостно разорались? Вот прискачет на их рулады баба и отгрызет им башку.

Черный день настал назавтра. К Патрику стали возвращаться силы: он оделся и согласился вечером выйти со мной на прогулку. Потянулся было к компьютеру, но я попросил пока его не включать. Тот не понимал,

что происходит, куда делись его вещи, откуда взялся сейф, почему все такие добрые и зовут на море, и он мне верил, послушался меня. Вечером я взял недопитую бутылку «Дона», и вместе мы отправились к Мыслящей Луже. Там я рассказал Патрику, что произошло. Мыслящая Лужа предостерегающе булькала, со дна ее поднималась тина и расплывалась на поверхности пугающими образами, страшными рожами, ядерными грибами. Она хотела сказать, что я тороплюсь, что Патрик не готов к восприятию той ужасной информации, что я ему приготовил, но я, как обычно, не прислушивался к чужим советам, считая, что какая-то там Лужа не может знать жизнь лучше меня. А Луже-то было известно, что Патрик не делал back up'ов, и она понимала, в какое он пришел смятение, узнав, что дела, которым он посвятил жизнь, безвозвратно погибли.

Мне он смятения не показал, и я взял с него обещание не говорить о компьютере с родителями. Тогда, возможно, нам удастся тайком его «разминировать» и восстановить хотя бы часть информации при помощи спецпрограмм. Я писал уже, что разговаривал с ним как с парнем и все его поступки оценивал именно как реакции парня. Я писал об этом, однако примеров не приводил. И вот, пожалуйста: самый вопиющий пример.

Мы мирно дошли до дома, и там-то с Патриком снова случилось страшное, еще страшнее, чем полторы недели назад, когда его забирали в психбольницу. Он высказал родителям все, что о них думает, а подумать про них можно было много. Наверное, Валентин и тут принялся бы его бить, но он чувствовал себя виновным в трагедии и просто вышел из комнаты, сжав свои огромные кулаки. Я вышел за ним, ибо понял, что все рухнуло и терпеть происходящее больше не имело смысла. Наверное, зря я вышел. Или нет? Думаю, нет. Думаю, в комнате было бы еще хуже.

Валентин сидел перед столиком. Я сел перед ним, и он на меня посмотрел. Он смотрел долго. С большей ненавистью на меня не смотрел никто и никогда. Я чувствовал, что еще чуть-чуть — и кулак орангутанга врежется в мою голову, заставит ее треснуть, и на сильные пальцы наматываются мои волосы, и он будет бить меня о бетонную дорожку, пока череп не расколется и мозги не вытекут.

Он не был психом. Именно потому он смог удержаться. Он только спросил: «Зачем ты это сделал?» — «Я не мог врать». — «А что такое ответственность, ты знаешь? Если она теперь с собой покончит, ты за это ответишь?» Я промолчал, и он, помедлив, сказал: «Иди туда. Утешай. Сделай хоть что-то полезное в своей жизни».

Вот так и получилось, что я выдернул из карточного домика лжи одну карту и прогорел. Немало взбесили

родителей и те двести пятьдесят граммов пива, которые мы с Патриком выпили пополам, разговаривая на заброшенном заводе.

Удивительно, но, несмотря на бешенство, они были рады.

Они сказали привести компьютер Патрика в порядок, а на следующий день уматывать. И я умотал. Снежана закрыла за мной калитку и сказала «прощай» со всем холодом, презрением, ненавистью, злобой, отвращением, гадливостью, сарказмом и насмешкой, на какие только была способна. И однако я ей не поверил. Я видел, что она счастлива. Совесть больше не мучила ее, как не мучила она тех пидорасов, что чмырили меня еще сильнее после внушения учителей. Теперь они с Валентином хорошо знали, почему ее дочь принимает наркотики, хочет покончить с собой, дружит с сомнительными людьми. Они поняли, из-за чего она называет свою мать Гитлером, из-за чего пришлось им прибегнуть к изуверской терапии, уничтожить ее вещи. Вот кто в этом виноват, оказывается.

За что они повесили на меня эти грехи? Разве у меня мало своих? Разве я недостаточно страдаю? Видимо, нет.

Я шел по разбитым ростовским улицам, смеясь от счастья. Ад закончился. Я сел на автобус до вокзала, открыл форточку, ветер развеивал мои волосы. Я тоже был счастлив, не меньше, чем родители Патрика.

Ад закончился.

ЭПИЛОГ

В Москве я первым делом устроился на работу, чтобы скопить денег и снять нам с Патриком угол. Работа была курьерская, длилась чертовски долго. Патрик не верил, что после всего случившегося у нас может что-то получиться. Понятно, я на это злился. Он верил в судьбу, а я нет. Я не мог себя убедить, будто мне предначертано умереть одному и в говне.

Вбили дополнительный клин между нами и чернушные новеллки, в которых я заигрывал с безумием. «День пограничника», «Пламя улиц», «Мост к Венере» и прочий порожняк, который и вспоминать неохота. При написании их приходилось становиться на скользкую дорожку. Ничего хорошего скверные новеллки мне не принесли, кроме одобрения духовно богатых юношей с филфака, любивших юродство. Куда больше было от этой графомании вреда. Во многом она-то и ускорила окончательный разлад с Патриком. Слишком уж явно сплагатил я у него основные сюжетные ходы, эстетику и художественные образы. Да и не только. Во всех моих скверных новеллках одним из главных героев была девушка, очень похожая на Па-

трика, но почему-то всегда развратная и с претензией на мудрость. Патрик не был развратным и с претензией на мудрость, но думал, что я вижу его как раз таким, как в своих скверных новеллках. «А кто еще там, как не я? — спрашивал он меня. — Ты ж никого, кроме меня, не знаешь». Я обижался.

Я работал как мог, но вскоре все надоело. Силы иссякли вместе с уходом смысла. Случилось это 13 августа 2008 года. Я хорошо помню этот день, ибо это один из худших дней в моей жизни. Я ездил по городу на редкость долго, ничего не соображал от усталости, получал от Патрика на редкость возмутительные известия, а день все не кончался и не кончался. Когда настал час ночи, я решил, что этот проклятый день наконец кончился, и сел в один из последних автобусов до своего района. Тут мне позвонил человек, которому я из своего раздолбайства не занес один заказ. В заказе этом значилось лекарство, а назавтра ему (заказчику) должны были делать с использованием этого лекарства операцию. Я сказал, что занесу эти лекарства завтра с утра. Так что 13 августа не закончилось и завтра, когда я встал в пять утра, чтобы лекарства были у пациента. Завезя их, я поехал в офис и уволился. Тогда-то и настало 14 августа: один из лучших дней в моей жизни.

Я купил водки, позвонил тому парню, которого называю Игрушкой Богов, встретился с ним в прекрасном районе Чертаново, познакомился с его друзьями, душевными и веселыми парнями и девчонками, молодыми душой. Практически со всеми ними мои отношения в тот день навсегда испортились, ибо я нажрался водки как никогда, и они избегали отвечать на мои попытки продолжить знакомство, даже в Интернете.

Славно погуляли мы тогда. Патрику бы понравилась наша прогулка. Мы шлялись под высоким московским небом, среди чертановских высоток, раскаленного асфальта, урбанистической красоты. Кругом кипела жизнь, а внутри меня все обрывалось: я совершал маленькое самоубийство. Каждая моя пьянка — это маленькое самоубийство, уничтожение части себя, не дающей мне покоя: глупой мечты, бессмысленного стремления, напрасной просьбы, не находящего отклика откровения, мечущегося в поисках несуществующего выхода чувства или мешающего жить убеждения. Для самоубийства большого я был слишком труслив, потому и ломал веник по пруту, уничтожал постепенно все, что запрещало поверить в судьбу и проклятье.

Наутро я проснулся в роскошном доме своего товарища Игрушки Богов. В каких эмпиреях живут иные люди и в каком говне прозябаю я. Видимо, мой товарищ услышал эту мою мысль в наших, казалось бы, безмятежных разговорах, и тоже с той поры огра-

ничил общение со мной до минимума. Я на него не сержусь. Я сержусь только на две категории людей: которые обещали что-то и не выполнили, и на тех, кто сделал мне ни с того ни с сего зло.

Так или иначе, погуляли мы славно, «и я буду нести это воспоминание так бережно, словно в моих руках чаша, до краев наполненная парным молоком».

* * *

Несколько месяцев мы с Патриком переписывались в Интернете. Я так и не понял, каким он хочет меня видеть, он так и не понял, кто я такой. Я был в отчаянии от этого непонимания и оттого, что мне не могут сделать шаг навстречу; раздражительность моя росла, словно в рассказе Шекли «Академия». Я ненавидел все свое окружение — и не только. Весь мир, все человечество, всю вселенную ненавидел. Писал об этом Патрику, поскольку думал, будто ему это близко. В десятый раз повторю: я абсолютно его не понимал. Под конец Патрик стал писать, что я маньяк и он меня боится. Это был очередной поворотный момент в моей судьбе, и я не мог сделать правильный ход. Я очень ему нагрубил, сказал, что он баба.

Как такое могло случиться, я и сам долго не мог осмыслить. Лишь теперь начинаю потихоньку вдупляться. Людишки ведь ни капли друг друга не понимают. Ну правда. Я говорил, что не могу припомнить ни единого случая, когда б удалось что-то человеку объяснить. Под словом «объяснить» я разумею следующую ситуацию: человек придерживался одной точки зрения, а после разговора со мной стал бы считать по-другому. Такого нет. Есть лишь иллюзия переубеждения. Она в двух случаях возникает. Первое: когда человек с тобой в принципе согласен или хотя бы придерживается тех же мыслей, что и ты, и, услышав твои слова, делает вывод, к которому давно шел, ну или просто слышит от тебя подтверждение его собственных мыслей. Второе: ты говоришь о вопросе, который человеку безразличен, и он с тобой соглашается ровно до тех пор, пока данный вопрос лично его не коснется и у него не сформируется на данную проблему собственной точки зрения. В остальных же ситуациях людишки признают чужую правоту, лишь чтобы от них поскорее отстали.

Как вообще можно понять человека? Мне плохо это представляется. Вот ты любишь футбол. А он энтомолог-любитель. И тебе надо представить, как это может быть интересно: не гонять толпой мячик по поляне, а считать, сколько сегментов на брюхе у таракана и как он яйца откладывает. Нет, я уверен, что того же энто-

молога-любителя можно в чем-то уличить, найти миллионы способов его унижить, использовать, надавать на него, причем уже после первого знакомства. А вот чтоб понять, нужно кое-что еще. Нужно *отречься от себя*. Забыть про свой футбол и погрузиться в энтомологию (или наоборот: пожертвовать энтомологией во имя футбола). Из семи миллиардов человекишек так могут лишь избранные: кто обладает высокой культурой мышления и добрым сердцем. К сожалению, я точно знаю, что Патрик был именно тем человеком, который мог бы меня понять. Он много кого мог понять, потому-то я и считал его гениальным писателем. А вот я не смог даже прикинуться, будто понимаю его.

Хочу сказать, что в момент нашей ссоры никакого глобального понимания и не требовалось. Нужно было лишь проявить минимум внимания к чужим словам. Но между нами, помимо прочего, стояла тысяча километров и суррогатное общение по имени «Интернет». Говори мы вживую, недопонимание распалось бы за минуту-другую. Он не желал меня оскорбить, унижить, причинить боль. Он сам запутался и отчаялся. А я, вместо того чтобы услышать и поддержать, толкнул по направлению бездны. Непонимание росло и росло, как лавина, и сработал кумулятивный эффект.

В школе мне внушали сентенцию: мужчина должен обладать выдержкой. Понятно, я ненавидел эту мысль, как и все школьное. «Кому должен?» — спрашивал я. Теперь знаю: себе. *Себе* должен быть выдержанным, чтобы не умереть в говне и одиночестве. И еще женщине своей должен, коль скоро ты ее уважаешь и любишь. Она может вести себя плохо — а ты нет. Почему? Да потому, что эта сучья жизнь так устроена. От мужика требуется чуточку больше, чем от женщины. Я до последнего пытался не признавать этих сучьих законов, думая, будто если я их отрицаю, то их и нет в природе. Но законы жизни сами залезли ко мне под одеяло и напомнили о своем существовании.

Что ж, не тогда, так в другой раз. Наверное, оно и к лучшему. На что мог рассчитывать Патрик со мной? На комнату в клопином общежитии или засранной коммуналке? (На съем полноценной квартиры я ведь никогда не заработаю.) Всю жизнь питаться химической лапшой, работать на побегушках, таскаться на работу за тридевять земель на метро и автобусах? И это — при наилучшем раскладе, не таком уж и вероятном. Скорее всего, мы бы опять жили на помойке. Гнездо, которое я пытался свить для нас, висело на ветках Анчара, и пронизательный, мудрый Патрик прекрасно это видел. Не тот я человек, чтобы девушки за мной на ядовитое дерево лезли, святой Петр гарантирует это.

Окончание следует.

ШМЕЛЕВСКИЙ КОНКУРС

ОТ РЕДАКЦИИ

«Шум воды становился все отчетливей и громче... Очевидно, я приближался к запруде. Вокруг рос молодой осинник, и его тонкие длинные стволы сероватой густой стеной тянулись передо мной, загораживая шумящую реку. С треском продирались я чащей, спотыкаясь об острые пеньки, незаметно скрытые в сухом листу, получал неожиданные удары гибких веток... А река шумела громче и громче. Что-то гудело даже, издавая стоны, точно к шуму воды примешивался какой-то живой звук. "Должно быть, мельница на запруде", подумал я.

Я попал в совершенно незнакомую местность... А лесок все тянулся... Стал березняк попадаться, потом и пушистые кусты дубняка. Это мне подавало надежду, что окраина близко. Что-то светлое вдруг стало! небо яснило за чащей... Волна света и воздуха хлынула мне на встречу... Свежестью ударило в лицо, необъятным простором сверху, шумом и гулом реки снизу... Я стоял



над кручей. У самых моих ног почти отвесная глинистая стена спускалась к реке... Недавние следы осыпи длинными полосами тянулись книзу. Мельница шумела и зазывала к запруде, река в колесо била и белой пеной вертелась внизу, за плотиной. Узкая полоска наносного речного песку тянулась вдоль откоса, ровная, прилизанная отхлынувшей водой. Широкий омут темнел внизу глубоких колодцев: две-три корявые ветлы с пучками тонких ветвей на вершинах склонялись над ним. Старые развесистые рябины, усыпанные кистями красневших ягод, одинокою группой стояли за мельницей, скворешница, увенчанная хворостиной, торчала над ними».

Перед нами ранний Иван Шмелев. Но рождение писателя уже произошло! Чудо свершилось.

А юные участники Шмелевского конкурса вновь пробуют свои силы (см. № 7 за 2018 год). Будем же к ним благосклонны!

ДЕТИ, КОТОРЫЕ ВЕРЯТ

Мы, считающие себя взрослыми, предпочитаем не видеть, какими раскаленными бывают чувства человека, еще не уставшего от своего тысячедневного бытия, быта, рутины. Наши вдоль и поперек заказные СМИ столько раз демонстрировали нам неспособность молодых ребят ответить на элементарные вопросы, что мы уже начинаем сомневаться, умеют ли вообще подростки мыслить и чувствовать.

Публикация детских работ конкурса «Лето Господне» имени Ивана Шмелева дает читателю шанс прикоснуться не к «детству», которому принято поклоняться и умиляться, но к тем сокровенным глубинам, что открываются душе, еще не забывшей, что такое Вера, Доброта и Совесть. А они — не забыты, поскольку именно ими и составляется изначальный Свет, затмеваемый с годами людским равнодушием и жестокостью.

Что же единит нас в жизненном потоке?

Язык.

И зашитая в нем поистине святая, спасающая убежденность в том, что Господь, каким бы и где бы он ни был, не даст совершиться злу, и защитит невинных, и спасет их — вот вечный сюжет, обрамляющий прочтую и единящую нацию вот уже тысячу лет мысль.

Прочтите сами, а не судите с чужих слов, о том, как излечившаяся от тяжелейшего недуга девочка возвращается в детскую больницу медсестрой, как молится об убийцах и мучителях осужденный священник, как вливаются в наш весенний евро-уральско-сибирский поток иностранцы и как потом становятся русскими, жертвуя самым дорогим и последним.

Прочтите о матушке-калеке, сироте военных лет, чья неуклонная вера приводила к ней сотни людей, о фермере, ринувшемся из Москвы в нижегородскую глушь возрождать родовую память, о жертвах исторических переломов, коих в двадцатом веке у России было как минимум два...

Неужели эти наивные порой строки ничем в вас не отдаются? Ну конечно же, отдаются. Должны от-

даваться, если еще не окончательно затвердело и не покрылось мозолями беспамьяства сердце.

Это — наше. Это говорят — наши дети, которым

передаем сказания — мы. Это — наш портрет во времени и пространстве.

Сергей Арутюнов, главный редактор — пресс-секретарь конкурса

«Лето Господне» имени Ивана Шмелева

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА, 8–9-Е КЛАССЫ



Ксения ЯКИМОВА

ПЕРЕСТУПИТЬ ПОРОГ

Свет из окна всегда будит. Тем более если это окно находится прямо на востоке. Солнце встает, распускает свежие лучи и стреляет ими прямо в твоё спящее лицо. Тогда человек невольно открывает глаза. Как не улыбнуться, осознавая, что впереди ждет новый день? И другой человек улыбнется. Если только он не ты.

Ты отвернешься от окна. Ты до боли уткнешься в подушку. Ты заплачешь от внутренней боли, когда слезы катятся по щекам, без всякого звука. А все потому, что дни твои перешли на часы.

Ника лежала, уткнувшись в подушку. Подушка взмокла от слез, боль билась об стенки сердца.

— Ника, проснулась?

Это медсестра Рита. Она аккуратно приподнимает одеяло, смятое ночью, и укрывает как надо.

Ника не шевелится. Зачем что-то говорить, если часы отсчитывают время для твоего перехода? Вчера она услышала, как безутешно рыдала мама, пока доктор рассказывала ей о трагичности положения.

— Рак беспощаден, — говорила она, стараясь не смотреть в несчастные глаза матери, — вашей дочери

остался максимум месяц. Не говорите ей об этом пока. Не убивайте ее раньше времени.

Доктор еще что-то говорила, но Ника уже не слышала. Она лежала на больничной койке, на которой всего неделей раньше мечтала о том, как вернется домой. И вот все оборвалось.

После этого и навернулись слезы. Она бессильна! Она мала и ничтожна перед этой страшной неизбежной пропастью — смертью. Она ничего не может изменить, она скована по рукам и ногам этими больничными оковами, она словно в тюрьме. Ей стало очень жалко себя. Жалко Машу из третьей палаты, потому что та умерла меньше недели назад. Сколько они бегали по больнице, выслушивая тихое ворчание дежурных по этажам. Теперь Маши не стало. Скоро не станет и Ники.

В тот вечер Ника с Машей сидели в Машинной палате. Это был особенный вечер, Ника это чувствовала. Фонарь напротив Машинного окна бросал на потолок неоновые блики, разбавленные лимонным светом настольной лампы. Было необычно, красиво и радостно.

— Знаешь, — начала Маша, — вчера ко мне залетел мотылек.

Наверное, надо описать Машу. Это была обычная девочка с россыпью золотых веснушек на щеках, некогда имеющая копну рыжих волос, вьющихся на концах. Сейчас ее голова было начисто выбрита, как и голова Ники. Они сидели на постели, склонившись друг к другу, трогательные, как две птички.

— Настоящий? — улыбнулась Ника.

— Самый что ни на есть! Скорее всего, он залетел, когда проветривали палату. Такой лохматенький, серый. Крылья как лепесточки! Он сел ко мне на подушку. И...

Маша невесело усмехнулась.

— Оксана прибила его мухойкой.

Это молодая медсестра. Замкнутая и сердитая. Маша и Ника ее не боялись, но что-то сжималось в груди, когда та входила в палату. Да, она все делает правильно, по инструкции. Кроме одного — она не любит своих подопечных. Но в инструкции это и не прописано.

Машино грустное лицо было покрыто паутинкой неоновых световых фонарей. Он же отражался и на стене, неподвижный и скучный, как однообразный больничный день. Никакого движения в нем: ни отсвета фар машин, ни отблеска рекламных подсветок. Больничный забор не позволяет иным бликам проникнуть сюда. Здесь своя атмосфера. Атмосфера боли и томительного ожидания.

— У меня дома живет хомяк, Люк, — сказала Ника, поглаживая подругу по тощему плечу, — Я люблю «Звездные войны» и даже хомяка назвала в честь одного из героев. Смешно, правда? — Маша тихонько засмеялась. — Он очень меня любит, как и я его. Когда меня увозили в больницу, мне показалось, что он плакал.

Маша хитро прищурилась.

— Если я умру, ты будешь реветь?

— Да, — решительно сказала Ника, — а ты будешь реветь, если я умру?

— Еще как.

Подруги обнялись. Стало тепло и весело, хотелось шутить и смеяться. Они вместе! Когда рядом есть плечо друга, ничего не страшно. Они смеялись, о чем-то вспоминая, пока дежурная не отправила Нику в свою палату.

На следующее утро Маша умерла.

— Опять всю ночь плакала? — недовольно спросила тетя Рита, поправляя Никину подушку.

Тетя Рита — пожилая медсестра, прячущая свою мягкую, как воск, душу за нарочитой строгостью.

— Какая теперь разница? — безучастно сказала Ника.

— Большая, — сердито ответила медсестра, — чего слезы без толку лить?

— Что слезы лить? — закипев, закричала Ника. — А в чем смысл жить и чего-то ждать? Зачем, если, быть мо-

жет, через минуту я перестану дышать? Зачем читать книгу, если уже знаешь, чем она закончится? Зачем? Зачем?

Она в бессилии упала на подушку.

«Это нечестно, — думала она, словно в бреду, — почему я болею...»

Мама почему-то не приходила в больницу уже три дня. Она все так же отправляла передачи, писала в Интернет, но не приходила. Ника осталась лицом к лицу с часами, отсчитывающими секунды ее жизни.

Эти часы висели на стене прямо напротив нее. Во всех палатах были старенькие, но свои часы. Лежа на кровати, ты оказываешься прямо напротив них и видишь только их. Раньше они с Машей считали часы до выписки. Часы были другом, переживающим вместе с ними страх и надежду. После заявления доктора часы превратились во врага. Ника не хотела смотреть на них, но взгляд упорно выхватывал цветное пятно на белой стене.

В палату вошла тетя Рита. Ника не была расположена к разговору и потому прикрыла глаза, делая вид, что спит. Но тут же следом за медсестрой вошла главврач.

— Спит, — шепотом сказала тетя Рита. — Вы посмотрите, Марь Васильевна, как же она похудела, косточки видны. Отчаивается, и от этого болезнь прогрессирует.

— Риточка, больше для девочки сделать ничего нельзя. Она у нас и так обескровлена операциями, анализы наихудшие, плюс депрессия, усугубляющая положение. Пока она сама не поднимется духом, мы бессильны перед ее болезнью, — услышала Ника усталый голос главврача.

Она потрогала Никину руку, приподняла подбородок, вздохнула, покачав головой, как делала всегда, когда была озабочена положением больного. Только вздох был не озабоченный, а безнадежный.

— Впрочем, в качестве исключения попробуй, — задумчиво проговорила она. — Ника славная девочка. Вот бы всех детей так спасти.

— Марь Васильевна! — услышала Ника тоненький голосок. — Ленке из третьей палаты опять плохо, он говорить не может, хрипит и плачет...

— Хорошо, Костя, иду, — тут же отреагировала доктор и скрылась, прикрыв дверь.

Тетя Рита села на стул у кровати, расправляя белое полотенце.

— Хватит, Ника, я знаю, что ты не спишь, — вдруг сказала она.

Притворяться больше не было смысла, да и хотелось поскорее распахнуть глаза. Ника огляделась, сошурившись от белоснежных стен.

Тетя Рита сидела с преспокойным видом и прилежно расправляла полотенца.

— Я все равно засыпала, — сказала Ника угрюмо.

— Я верю, — в тон ей ответила тетя Рита.

— Я все слышала, — срывающимся шепотом сказала Ника.

— Знаю, — кивнула медсестра, не отрываясь от работы.

— Но я никогда больше не смогу радоваться!

В ответ тетя Рита промолчала. Наконец, сложив полотенце, медсестра невозмутимо пожала плечами.

— Ты смирилась с болезнью, так?

Ника жала кулачки от бессилия.

— Да.

— Еще один вопрос. Ты любишь животных?

От неожиданного вопроса Ника оторопела. Вспомнился хомяк Люк, далекий милый друг, оставшийся в том, светлом мире, больше недоступном ей.

— Да... — проговорила Ника, — а что?

— Надеюсь, — улыбаясь, сказала тетя Рита, — скоро узнаешь!

Проснулась Ника от стука дождя по карнизу. Слово тысячи крошечных каблучков стучали по крыше, крыльцу, асфальту. Ника открыла глаза, и первой, кого она увидела, была Маруся, которая сидела на ее кровати и глядела в окно.

Вообще Ника, да и все пациенты давно привыкли, что Маруся находится везде и всюду. Ника тоже не удивилась, увидев Марусю рядом.

— Маруся... Это дождь?

Девочка повернулась к Нике, улыбнулась.

— Дождик.

Комната помрачнела от туч. Белые стены потемнели.

Маруся — невысокая странная девчушка. Ника знала, что у нее лейкемия. Не по годам Маруся была тихой, задумчивой и всегда появлялась у кровати того, кому нужна была поддержка. Она могла просто быть рядом и молчать, и от этого проходила боль щемящего одиночества, или могла разговорить человека, и дух поднимался. Медсестры называли ее ангелочком.

Ника поняла, что Маруся пришла к ней не просто так.

Стрелка на часах застыла на шестерке. Серые облака, словно свалывшиеся клочки овчины шерсти, медленно передвигались на север.

— Мне грустно, — подумала Ника, и даже не спохватилась, что говорит вслух. В эту простую фразу вложилась вся боль, весь страх ожидания, все выплаканные вечера, когда она засыпала в поту от мыслей о смерти.

— Почему? — повернулась Маруся к Нике.

— Боюсь.

— Чего боишься?

— Не проснуться.

Маруся взяла Никину руку и погладила ее сухие пальцы.

— Не бойся. Поживешь еще.

Ника горько усмехнулась. Этот смешок вызвал холодный ком в горле, от которого на глаза навернулись слезы.

— Не плачь, — тихо сказала Маруся, — ты и так уже много наплакалась. Пусть лучше дождь за тебя выплачет.

Почему-то именно эти слова подействовали на Нику отрезвляюще. Она улыбнулась и обняла девочку.

— Я и правда устала плакать. Я устала, устала переживать. Пусто вот здесь, — Ника стукнула ладонью по груди, — словно все перегорело. Ни чувств, ни эмоций. Ничего.

Маруся помолчала.

— Если ты будешь впадать в такие депрессивные приступы, как вчера днем, тебя поведут к психиатру.

— Мне уже все равно.

Ника исподлобья тихонько рассмотрела Марусю. Несмотря на то что она в больнице не один месяц, Ника никогда не видела внутреннюю панику на ее лице. Только чистая и нежная серьезность. Слово она не отсюда. Не может человек жить спокойно с такой болезнью. Или может?

— Маруся... скажи. Сколько ты уже здесь?

— Разве важно? — улыбнулась девочка. — Ну день, ну год... Это ничего не значит. Мы пришли в больницу, чтобы что-то найти. Вот ты ведь так и не нашла свое.

Ника непонимающе посмотрела на девочку.

— Ты ничего так и не поняла, а потому и торчишь тут. До сих пор понять не хочешь того, насколько... впрочем, ты должна сама осознать. Сама... и никто тебе тут не поможет.

Ника обиженно посмотрела на Марусю и с вызовом спросила:

— А ты-то нашла?

Маруся улыбнулась, но ответила серьезно:

— Нашла.

Дверь приоткрылась, и в палату тихонько заглянула тетя Рита.

— О чем мечтаете? — шепотом спросила она, зайдя в палату с квадратной сумкой в руках.

Ника хотела резко ответить, но что-то остановило ее. Тетя Рита никогда не пожелает Нике зла, и Ника это знала.

Медсестра лукаво глядела на Нику.

— Хотите сюрприз?

Ника переглянулась с Марусей и неуверенно кивнула. Медсестра улыбнулась так, что в глазах засверкал живой блеск. Она аккуратно приоткрыла сумку, и из черной пасти сумки высунулась белая усатая голова.

Ника вытаращила глаза.

— Знакомьтесь, девочки, — ласково проговорила тетя Рита, — Лютик.

Лютик оказался довольно упитанным котом с белой короткой шерстью и круглыми синими глазами. Он с любопытством принюхивался.

— Какой милый! — прошептала Маруся, несмело прикоснувшись к макушке кота. — Какой толстенький! Его, наверное, много кормили?

— Нет, кормили его всегда в меру, — все еще улыбаясь, ответила медсестра, — но толстенький он не случайно. Дело в том, что у Лютика рак.

Тихое слово прозвучало словно гром. С минуту девочки сидели молча, замерев. Было слышно лишь потрескивание лампы.

— Ника, я дарю тебе Лютика. От него отказались, и я подумала, может, ты захочешь, чтобы он жил у тебя?

Ника смотрела на кота не мигая.

— Да. Очень хочу...

Ника полусидела на кровати, не отрывая взгляда от нового друга. Она заметила, какие глубокие у него глаза. Словно человеческие.

— А вдруг ты на самом деле когда-то был человеком? — сказала Ника вслух. — У котов не может быть такого взгляда.

Лютику наскучило ходить туда-сюда по комнате, и он запрыгнул к Нике на кровать.

— Интересно, почему ты заболел? Знаешь ли ты о своей болезни?

Лютик лег на спинку и зажмурился.

— Ну конечно, ты же чувствуешь боль. Мы с тобой связаны одной болезнью. Только у меня шансов из нее выйти уже нет.

Кот внимательно слушал, как казалось. Вдруг он, заметив мошку, задрогал лапками в воздухе. Это выглядело так забавно, что Ника рассмеялась, удивившись, как давно она не слышала собственный смех.

— Наверное, ты все-таки не знаешь о болезни. Иначе бы так не веселился.

Кот прислушался, принюхался. Мошка одержала победу.

— А вот во мне больше нет радости. Никто не заметит моего ухода. Уж лучше бы я тогда и не рождалась на свет.

Ника в отчаянии закрыла глаза руками. Тут она почувствовала резкую боль в локте. Лютик больно укусил ее.

— Эй! Прекрати!

Лютик растопорщил усы и грозно мявкнул. Он словно заступался, защищал что-то очень сокровенное, чистое, светлое, то, на что она, Ника, подняла руку.

Ника вдруг вернулась к странным словам Маруси. «Ты здесь, чтобы что-то найти». Да, слова о том, что она пришла сюда зачем-то, но еще не поняла зачем, а потому все еще здесь, прозвучали как откровение.

Слова о смерти вдруг показались словно начерченными на песке. «Зачем я здесь, в больнице?»

Ника откинулась на подушке и закрыла глаза. Картинки из прошлого, из ее маленькой жизни встали перед глазами. Вот родители подарили ей не тот телефон... Мама на день рождения случайно перепутала и купила не тот торт... Все эпизоды из жизни были наполнены негативом, злостью, раздражением.

Ника резко открыла глаза. Снова захлопнула их. Она судорожно принялась пересматривать факты, которые внезапно открылись ей. Конечно! Ни разу Ника не порадовалась жизни, не порадовалась тому, что имеет. Незначительные радости в виде подарков меркли перед огромным фактом: Ника ненавидела жизнь. Ника ненавидела свое имя, ненавидела одноклассников, ненавидела себя. Она сама проложила себе дорогу в это мертвое место, из горячего адского кирпичика, из болезни под названием «рак». Она не замечала красоты, она предпочла тьму — мертвые ветки дерева на пустынном тротуаре. А теперь она сама как мертвая ветка.

Слезы потекли по щекам, в ушах зазвенело. Ника сжала руки в кулаки и молчала, хотя внутри она разрывалась от крика: вот, вот зачем ты в больнице! Ты не любишь этот мир и потому Бог отнимает его у тебя. И, невероятно, с души внезапно стал спадать слой копоти и грязи, уступая место слабости, от которой хотелось заснуть.

— Тринадцать! — Ника шумно выдохнула и с видом победителя посмотрела на Леньку.

Маруся и Ленька стояли у изголовья кровати и мозаабвенно считали секунды.

— Ну ты даешь! — восхищенно сказал Ленька, стриженный бойкий пацанчик. — Тринадцать, это уже неплохо. В то время как ты задыхалась после пяти.

Ника победно улыбнулась.

— Так что я был не прав, — прибавил Ленька, — ты действительно, вроде того... поправляешься...

Ника нахмурилась. Маруся толкнула Леньку в бок.

— Ребята, смотрите, что Лютик творит!

Все разом повернули головы.

Кот вскочил на задние лапы, замахав передними, чем привел всех в восторг.

— Он с пухом играет, — сказал Ленька, — тополь облетает на улице...

Ника тут же повернулась к светлому окну, из которого струился солнечный свет, и увидела... снег. Летний снег из белого тополиного пуха, волшебного пуха из детства... Он кружился за окном, словно слова милой плавной песни, словно раскрошенное облако.

У Никиного дома росло много тополей, и один из них заглядывал прямо в ее комнату. Каждый раз, просыпаясь, она видела, как тополь качает ветвями. Когда ей было грустно, она смотрела в окно, и тополь всегда был рядом.словно близкий друг...

Люттик охотился на пушинку, словно лев на кролика. Поджимал уши, готовый к прыжку, и снова прыгал...

— Смотри, — сказала Маруся, — он совсем не обращает внимания на то, что у него что-то в организме есть. Живет, и все у него хорошо...

— Может, он не знает о своей болезни? — робко сказала Ленька.

Звонящая тишина накрыла палату.

— Он знает, — сказала Ника, — он, ясное дело, знает... но продолжает радоваться жизни. Точнее, тому, что осталось.

Неизвестно было, кому она это больше говорит, ребятам или себе.

— ...Он любит пух, ему весело, и он играет с ним. Он любит солнце и каждое утро встречает его на подоконнике, мурча и жмурясь. Он любит людей, он спит со мной, ласкается о ноги тети Риты, даже когда миска полна еды... А порой тихо плачет по-кошачьи, ползает по полу от жутких болей... но потом снова к утру залезает на подоконник, чтобы встретить солнце... Любит жизнь, даже смертельно болея, — еле слышно закончила она.

Ника замолчала, обдумывая это открытие. Простое, известное с самого детства, но понятное только сейчас, в это мгновение. Жизнь — вот великий дар, который стоит беречь и дорожить.

— А я ведь теперь ничего не боюсь, — решительно заявила Ника.

— Чего не боишься?

— Ну, этого самого. Смерти.

Она помолчала.

— Я вдруг стала вспоминать вещи, на которые никогда бы не обратила внимания. И не обращала, пока не попала сюда. Знаете, мне до боли в желудке хочется пойти к себе на кухню и включить чайник. Я всегда раздражалась, когда мама просила меня об этом. Теперь никто не попросит меня это сделать. Сейчас мне ужасно хочется пройти эти пять шагов и тыкнуть в эту ободранную кнопку. Понимаете?

Маруся всегда понимает. Она не смеется, хотя это довольно смешно, а внимательно слушает, чуть наклонив голову. Ленька тоже притих.

— А потом, этот самый Люттик — это не кот, а ангел исцелитель какой-то. Серьезно, он привел меня к таким мыслям своей жизнерадостностью. Я поняла, какой я была эгоисткой. Вот бы отмотать время назад!

— Ты бы не пришла к таким мыслям, если бы не больница, — заметила Маруся, — где-то в параллельном мире Ника слыхом не слыхивала о лейкемии и ведет все ту же богатую, скучную жизнь.

Ника замолкла.

— Да, а ведь ты права. Ведь когда сюда ложилась, я считала, что это конец... а оказалось, только начало.

— Наверное, — согласилась Маруся и встала с кровати, — ладно, пойдем, Ленька.

Они направилась к двери. Ника подошла к Люттику и тихо обняла его.

Ника проснулась внезапно. словно что-то выхватило ее из сна.

На потолке неподвижно стояли неоновые блики. Тикали часы. Пахло лекарствами и снами.

Минуту Ника пролежала, не шевелясь. Сон как рукой сняло. Бывает же такое.

Люттик сидел на подоконнике и что-то высматривал в звездном небе. Ника встала с кровати и подошла к окну.

Всего неделю назад она покрывалась тоской при виде из окна: она видела мертвый бетонный забор, но не замечала звездного неба над ним.

Ника распахнула окна, вдохнула ночной воздух.

— Мир, ты прекрасен! — крикнула Ника в пространство. — Пусть все, всегда, везде будет хо-ро-шо!

Внизу зашелестели опавшие листья.

— Ника, чово кричишь?

Ника посмотрела вниз. Дядя Сережа, так звали добродушного охранника пациенты, стоял посреди тротуара, задрал голову вверх.

— Здравствуйте, дядя Сережа! — отозвалась Ника.

— А ну спать, хулиганка, — шутиливо пригрозил охранник, — посидела немножко, и в постель. Ночь уж больно красивая, понимаю тебя. Да как бы тебе нагоня не было от Ритки, она с этим строго!

— Тетя Рита добрая, простит, — засмеялась Ника, — все, я пошла спать! Не выдавайте меня, дядя Сережа!

Ника уже закрывала окна под незлобивое ворчанье охранника: «Ну-ну... покоя с вами, пострелятами, нет... того и гляди места с вами лишишься...»

Она легла, Люттик переместился к ней.

Засыпая, она не знала, что уже через неделю откроет больничные ворота и долго будет стоять, не решаясь переступить порог, веря и не веря, что чудо произошло и ее выписали. Она не знала, что через месяц Лютик уй-

дет к Маше. А через семь лет Ника вернется в больницу медсестрой, чтобы своим примером давать надежду детям, потерявшим смысл жить.

г. Тюмень





Рина ГОЛУБЕВА

Что значит быть русским?

Эссе

Любовь к Родине не знает границ.

Станислав Ежи Лец

Есть книги, от которых трепещет душа и меняется сознание человека. О таких можно сказать — судьбоносные. С их страниц звучит слово, помогающее дышать, мыслить, жить по-новому.

Настоящий писатель обладает даром животворящего слова, даже если оно не всем по вкусу. Искренняя и открытая всем правда Михаила Чванова потрясает и воодушевляет. В своей книге «Увидеть Париж — и умереть...» автор поднимает один из самых важных сегодня вопросов: «Что значит быть русским?» На первый взгляд, все давно ясно и понятно, но в свете современности эта тема требует переосмысления. И я ишу ответы вместе с автором.

Хороший и умный человек, Михаил Чванов напоминает о самом главном: любовь к Отечеству вырастает в человеке исподволь, незаметно, вместе с благодарностью за жизнь и радостью узнавания мира. Все, что дорого сердцу, что хранит благодарная память детства (большое или малое), и есть Родина. Значит, это мы сами.

Произведение Чванова — повесть о Дмитрие Донском, потомке французских крестоносцев, где главной героиней (и автором мемуаров) является Ирен де Юрша, урожденная Ирина Альбертовна Переяславльцева — де Гасс. Она была дочерью потомка древнего знатного рода Франца Альберта де Гасса и дочери князя Андрея Федоровича Переяславльцева, Веры Александровны, корнями была связана с самим Рюриком через сына Александра Невского Дмитрия. Он был первым князем Переяславля-Залесского. В семье, кро-

ме Ирен (Ирины в девичестве), был сын, Дмитрий де Гасс, в будущем — Дмитрий Донской, разведчик добровольческой армии, кавалер ордена Святого Георгия и Ордена Тернового венца. Он пал геройской смертью, когда ему было чуть больше восемнадцати. Дмитрий выполнил приказ своего командира Мишеля де Юрша (будущего мужа Ирен), отправился «в последнюю, безнадежную разведку», ясно понимая всю безнадежность операции. Как пишет в своих мемуарах его сестра, «даже Дмитрий, восторженный Дмитрий накануне моего отъезда (помню это, словно происходило вчера) — мы были в моей комнате, стояли перед окном, и Дмитрий сказал мне: “Ты была права, мы проиграем. Теперь я это знаю, но не проси меня уехать с тобой, конечно, как француз, я мог бы сделать это, но с нравственной точки зрения это было бы дезертирством”». Это и есть пример великой любви к Родине, неразрывной с понятием чести и совести, высокого нравственного долга. Истинно русский человек не способен поступить иначе. Дмитрий де Гасс, понимающий обреченность белой идеи, уехать был вправе, «но Дмитрий Донской не мог покинуть поле последней русской брани». Как не покинули Отечество в беде генерал Корнилов, капитан Врангель, братья Аксаковы и множество других, не очень «русских» людей, готовых ценой жизни защищать свою единственную Россию.

Имею ли я право сказать, что они не были русскими? Михаил Чванов отвечает: «Мне не дает покоя вопрос, почему в самую критическую... для России пору

ее спасти пытались не очень русские по крови люди? Не лишнее ли это свидетельство тому, что русский — не понятие крови, а может, вселенской идеи». История от античности до наших дней изобилует подобными примерами, ведь любовь к Родине не измеряется только кровной принадлежностью к народу, живущему на какой-то территории. Неважно, кто ты, неважно, где рожден. Чувство здорового патриотизма живет у человека в сердце. Эта любовь — нечто большее, чем просто привязанность. Это неразделимый сплав благородства и храбрости, высокой всечеловеческой идеи Добра, обостренного чувства справедливости и желания мировой гармонии. Это состояние души человека, музыка его сердца. Патриотизм не терпит пафоса, это глубокое, тихое и всегда фундаментальное чувство. Самое сокровенное, конечно. Оно сквозит в делах.

Мне вспоминается судьба еще одного француза, генерала Антона Скалона, родившегося в Бийской крепости и присягнувшего на верность русскому государю и Отечеству. Погибший при осаде Смоленска в 1812 году, он был похоронен со всеми подобающими воинскими почестями по личному приказу Бонапарта, который присутствовал на траурной церемонии и снял треуголку, отдавая честь русскому генералу.

Быть русским — значит любить и беречь все русское, созданное поколениями предков, бережно переданное в твои руки. Можно быть французом и никогда в жизни не видеть России, но печься о сохранении ее культуры. «Месье Саразэн — профессор Католического университета в Анже. Более того, можно сказать, что он чуть ли не главный католик Франции, потому как Анже — центр французского католицизма. Но душа у него точно православная. Иногда мне кажется, что он крестится по-русски», — замечает Михаил Чванов.

Саразэн издал воспоминания своей тети — русской эмигрантки, написав к ним предисловие. Он мечтает издать их в России. Сам Саразэн никогда не был в России, в нем нет ни капли русской крови, но всего его помыслы — о России, о сохранении бесценной памяти об ушедшей в прошлое Родине близкого ему человека. Француз, он беспокоится, цела ли в Шафранове церковь. «Ему неуютно жить от мысли, что ее вдруг там нет», — пишет Чванов. И самому писателю тоже было неуютно от того, что заброшена, разрушена усадьба Аксаковых. И потому он создал Аксаковский фонд, возглавил уфимский Мемориальный дом-музей Сергея Аксакова и Международный фонд славянской письменности и культуры.

Читаю повесть «Увидеть Париж — и умереть...» и думаю о трагедии многих и многих изгнанников, кто болью и страданиями, жизнями своими заплатил за простую и вечную истину: «Родины разны, но небо едино. Небом единым жив человек».

Русскость — удивительное, замечательное свойство лучших представителей человечества. Россия, великая и святая, остается такой, потому что мы, русские, независимо от крови и родства, способны на жертвенность и искреннее покаяние, на верность и духовный подвиг во имя нее и всей вселенной.

Я читаю повесть Михаила Чванова, талантливого писателя, русского человека, трудолюбивого, скромного, правдивого, который заставил мое сердце отзываться шемящей болью и глубокой любовью к своему Отечеству. И думаю о кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, куда не спешат наши туристы, для которых главное — просто увидеть французскую столицу. Там над могилой Ивана Бунина шумят листвою русские березы...

г. Новосибирск





Ульяна ФРОЛОВА

БОГОМ ДАННАЯ

Есть на свете дивное место — Смоленщина. Тихое, проникнутое светлой печалью, видевшее войны и боль, слово, впитавшее в себя историю всей страны и каждого отдельного человека. Кажется, всего двести километров от Москвы — а жизнь совсем другая, люди другие.

Недалеко от Вязьмы расположена маленькая деревня Темкино. Именно здесь еще совсем недавно жила старица Макария. За свою жизнь она перенесла много ужасов и лишений, боли и предательства, страданий и несправедливости, но у нее была неиссякаемая вера, спасающая ее и спасающая теперь нас.

Старица родилась 11 июня 1926 года, в день Отдания Пасхи. Нарекли ее Феодосией — «Богом данной». В день крещения крестной было видение, что крестить новорожденную нужно в церкви великомученика Георгия. Отец Василий, совершавший обряд, сказал, что девочка жить будет, а ходить — нет. Слова эти оказались пророческими.

Когда будущей старице было восемь лет, она заснула, а утром разбудить ее не смогли. Душа ее в это время пребывала в раю, и ангел-хранитель показывал ей райские цветы, сады и красные-красные яблоки. Ступив на райскую землю маленькой девочкой, она всю жизнь продолжала на ней незримо стоять. А не потому ли не могли ее ноги ходить по нашей грешной земле? Невозможно, коснувшись однажды трав в Царствии Божиим, ступить на грязные и пыльные дороги мира сего.

Феодосии было пятнадцать, когда началась война. Какое же это страшное слово — «война». Колкое, холодное, жесткое. Его произносят — и я словно наяву слышу плач, крики матерей, потерявших своих детей, вижу, как, прощаясь на вокзале, девушка сжимает руку своего любимого. Как же жутко провожать в никуда, не зная, увидишь ли ты еще когда-нибудь родное лицо. Война — это не политический ход, это сломанные судьбы, это энциклопедия мужества и настоящей

любви. Миллионы людей. Миллионы разных трагедий. Одна из них — история Феодосии, которую бросили умирать в холодном доме самые близкие — мать и сестры. Вскоре она и вовсе оказалась на улице. Одна. Зимой, в одном только легком платьице. Так продолжалась два года.

Ей было пятнадцать лет, как мне сейчас. Я считаю себя сильной, я стойко переношу жизненные трудности, но, случись со мной такое, я бы сдалась. У меня нет той огромной веры, которая помогала Феодосии непрестанно молиться и благодарить Бога. Есть снег, но верить, что благодать Божия не оставит ее. И ей явилась Дева Мария, пообещав, что не будет больше голодной и холодной жизни, а добрые люди заберут девочку в свой дом.

Спустя годы ее постригут в послушницы с именем Тихона, а еще позже она станет схимонахиней и примет имя Макария. И будут приезжать к ней многие и многие люди, прося помощи, совета и любви. Ведомо ли людям, какой ценой помогала им старица? А ведь все горести она забирала на себя.

Сильно болела матушка. Уже к двадцати годам у нее выпали все зубы, почки были простужены (это страшные военные зимы напоминали о себе). Как это странно — приходиться со своими проблемами к человеку, которому в десять раз хуже, больнее и страшнее, чем тебе. Но люди шли. А она всех принимала, все давала маслице и водичку с источника, которые исцеляли даже самых тяжелых больных. Матушка ведь не просто давала людям советы, она каждого сохраняла в своем сердце, за каждого переживала, как за самого родного человека. Она любила всех с невероятной самоотдачей, вся жизнь ее была в любви.

Юрий Гагарин часто приезжал к матушке. Как она говорила сама, приезжал не лечиться, не просить помощи, а помогать ей. Как же это просто, оказывается, как

правильно, увидеть в святой старенькую больную бабушку, которой очень надо помочь с пенсией и привезти врачей. Говорила матушка Юрию: «Не летай, нельзя тебе летать», а он не послушал. Старица молилась о его душе всю оставшуюся жизнь.

Преставилась матушка двадцать четыре года назад, а люди к ней все идут и идут. Сядут на скамеечку у могилы и что-то шепчут. Часто — плачут. Мне всегда кажется, что матушка, вот она, рядом, стоит, по головке поглаживает и тихо говорит: «Не плачь, Господь поможет».

Семья моего отца родом из Темкино. Моя бабушка хорошо помнит матушку. Я, слушая ее рассказы, часто думаю о том, как же это удивительно — святой рядом. Когда я молюсь, мне кажется, что все Божие Угодники далеко, практически в другом мире, не могут они жить в одних городах, деревнях и селах с нами. А старицу вспоминаешь и думаешь — она рядом, совсем близко к моей семье, к папе, к бабушке, ко мне тоже, наверное. Словно этим сам Бог со мной говорит через нее.

Я бываю в Темкино каждое лето. Прихожу на кладбище, долго сижу у могилки схимонахини и смотрю на цветы у ее могилы в лучах закатного солнца. Такая бла-

годать накрывает, словно моя душа уходит в райские кущи и гуляет там вместе с матушкой.

Пройдет совсем немного лет, и старицу причислят к лику святых, еще больше паломников станет приезжать к ней, а в селе будет монастырь. Дай Бог.

Почему я пишу о ней как о мученице? Была матушка ей в полной мере. В жизни своей она терпела горечи, но никогда не теряла веры, всегда зная, что Бог не оставит. И всю душу свою положила она на алтарь служения Господу и людям — всем и каждому. Всю жизнь ей было больно и тяжело, и это есть истинное мученичество, проявляющееся в каждой секунде жизни, в каждом вдохе.

Я католичка, никогда не чувствующая себя «своей» в православии, мне чужды византийская иконопись и церковнославянский язык, а Собор Святого Петра в Ватикане и Розарий — родны и понятны. Но навсегда в моем сердце останется трепетная любовь и нежность к этим смоленским краям, деревянному храму в нашем селе, к часовне у родника. И к матушке. А еще к людям, которые, живя рядом с ней, носят в своей душе частичку ее любви ко всему миру.

Святая Макария, моли Бога о нас!

г. Калуга





Ксения ЦЫЦЫНА

ПУТЬ К РОДНЫМ ИСТОКАМ

*Русь Святая! Храни веру православную,
в ней же тебе утверждение.*

Стихира Недели Всех Святых,
в земле российской просиявших

Лето! Я покидаю Нижний Новгород и отдыхаю на Рязанщине, в селе с необычным названием Мышца. Счастливейшие дни!

У меня есть прекрасная лошадь, арабский скакун по кличке Гвадиана. Она изящная, темно-коричневого окраса, с длинным роскошным хвостом, быстрая, как стрела. Рано утром я люблю мчаться на ней галопом по росе ромашкового поля, вдыхать свежий воздух, запах трав, леса и теплой сырости. В эти моменты я лечу, как птица, и нет забот. Блаженство, восторг, свобода-а-а!

Мне нравится просыпаться под звуки пения птиц, мычания коров, а засыпать, выпив кружку парного молока. Это закон для всех детей!

А как у нас весело, ни за что не соскучишься! Захожу на скотный двор. Свинья Матрена, недавно лишившаяся всех своих поросят, долго не понимала, куда ей направить нерастраченную любовь. И надо же! Наконец нашла: объектом ее нежности явился наш теленок Моцарт. Ежедневно Матрена, такая огромная, упитанная, стояла на задних копытах и тщательно вылизывала Моцарта. Этих «влюбленных» еще долго не могли потом разлучить.

А старая коза Земфира родила своего последнего козленка мертвым и очень горевала, даже замкнулась как-то. В это же время одна из овец «невзлюбила» одного ягненка, била и толкала его. И — о чудо! — к этому

подкидывшу тихонько подошла коза Земфира и «усыновила» его, выкормила и «воспитала», как родного!

Мышца стала для меня родным местом. Вот уже десять лет, как мой папа Николай — фермер в этом селе. Он любит свое дело, папа в нашей семье — главный экспериментатор. Недавно даже брынзу с другими сырами стали производить. На ферме трудятся доярки, пастухи, трактористы, производственники молочной продукции. Каждый из них занят своим любимым делом. Недавно папа выкупил два поля с заливными лугами на берегу Оки. Теперь мы с братьями ждем не дождемся, когда вместе поедем на сенокос.

Как-то вечером, уютно устроившись вдвоем с папой у камина в нашей деревенской усадьбе, я спросила, почему именно здесь, в рязанской глуши, открыл он свое хозяйство. В ответ папа привел мне слова Д. С. Лихачева: «Запомни, дочка, не здание даже нужно человеку, а здание в определенном месте. Я давно хотел рассказать тебе мою историю, вот и случай представился!» Я, затаив дыхание, приготовилась слушать.

Рассказ свой папа начал неожиданно. Он дал мне в руки старинную фотографию и сказал, что именно с нее и начался его путь к родным истокам.

«Десять лет назад все в моей жизни, дочка, было по-другому, — сказал задумчиво папа. — Тогда я особенно и не задумывался о том деле, которым занимался в Нижнем. Бизнес, командировки, переговоры, сове-

щания, высокий доход. По современным меркам я был успешным человеком».

Папа подбросил дров в камин. От теплого света огня фотография в моих руках как будто ожила: на меня весело смотрели девушка и парень, молодые и красивые. По иконкам в их руках и церкви на заднем фоне можно было догадаться, что они молодожены, а фотография сделана в день их венчания. На обратной стороне была надпись: «Алешины, Мышца, 1909 г.». Это были прадедушка и прабабушка моего папы, Дмитрий и Евдокия Алешины, о которых он ничего не знал и в Мышце прежде никогда не бывал.

Я продолжаю рассказ моего папы. «Неужто я Иван, не помнящий родства?» С такой мыслью папа в ближайший погожий день, прихватив с собой старый семейный снимок, помчался на Рязанщину разыскивать село со странным названием Мышца. Когда-то, прочитав папа, в Мышце была церковь в честь Николы Чудотворца с пределом в честь святого Димитрия Солунского, в составе прихода числились 2249 душ, мужских и женских.

И папа отправился искать это село с этой церковью. Из окна автомобиля он с интересом оглядывал рязанские окрестности. С одной стороны ему открывалась красота и величие русской природы. С другой стороны бескрайние поля пахотной земли заросли березками, вокруг мелькали покосившиеся избы с разбитыми окнами. В разрушенных зданиях колхозных ферм не видно ни коров, ни лошадей — пустота... Все колодцы-журавли заросли, заилились.

Добравшись наконец до родного села, папа стал искать жителей, стучаться в старые дома. Никого... Он попытался найти большой красивый храм, что был на старой семейной фотографии, а нашел только остатки фундамента. Горько, нелепо, до слез обидно... С такими думами присел папа на большой валун, оставшийся от разрушенного храма. Рядом был старый погост. «Может, хоть могилы прабабушки и прадедушки смогу найти здесь и поклониться им?» — раздумывал он, глядя на старую венчальную фотографию.

«Ангел храма тоже плачет от этой разрухи, — сказал неожиданно вышедший на поляну из-за деревьев старик. — Ты, сынок, чей будешь? Местный аль заезжий?» — с интересом спросил дед, опираясь на палку. Встретить здесь живую душу было и радостно, и неожиданно. Поздоровавшись со старичком, папа спросил, не слыхал ли он про Алешиных, его родных, и фотокарточку показал.

Долго старик рассматривал фотографию, но все же признал наших родных: «Хорошие они были люди, крепкие. Дед Дмитрий, тот конюхом в колхозе был,

тракторов-то ведь до войны не было еще. Землю сами вот этими руками пахали. А тетка Евдокия на пекарне хлеб стряпала на всю деревню. Эх, и вкусный был хлеб, такого уж нам не попробовать!»

«Так, значит, и пекарня своя, и конюшня, и колхоз здесь был, и храм действовал?» — задумчиво спросил папа.

«Что ты, сынок, а работали как все! Спозаранку все колхозное устроишь, а уж потом у себя в избе. А тут у каждого по пять-десять ребятишек, хозяйство свое: корова, телка, овцы, козы, утки... Травы-то, бывало, нигде на полях не найдешь, в лесу все выкашивали на многие километры.

А твои-то, Алешины, я слыхал, и при царе еще крепкое хозяйство имели, батраков нанимали, недаром тетку Евдокию еще все барынькой у нас потом звали. Да раскулачили их, конечно. Трудились, как все, усердно, в почете даже были.

Колокольный звон на всю округу раздавался, мальчишкой я еще тогда был. Да... Разрушили храм, сожгли... нашлись охальники! Но правильно в народе говорят: “Бог долго терпит, да больно бьет!” И года не прошло — все разрушители заживо сгорели в пьяном угаре. Пойдем, я покажу могилы ваши, ухаживаю потихоньку, одинешенек остался я. Уныло доживаю свои деньки», — окончил свой рассказ старик.

Дедушка ушел, и папа остался один на старом погосте возле разрушенного храма, где когда-то венчались его предки. Удивительно, но в тот момент он почувствовал рядом с собой невыразимое тепло и благодать, как будто ангел укрыл его своим крылом. Ведь православное предание гласит, что ангел-хранитель дается не только каждому человеку при крещении, но и каждому храму. Ангел, говорят, ликует, когда народ молится в храме, он же горько плачет, если храм разрушается. Считается, что даже на пепелище ангел храма не может покинуть свой дом и молит Бога о возрождении храма.

И папа признался мне, что у него есть мечта — восстановить наш храм! Даст Господь, и исполнится задуманное, ибо сказано в Евангелии: «Просите, и дастся вам, ищите и обрящете...» Но для этого надо усердно работать и молиться!

Мне верится, что по милости Божией и по молитвам ангела-хранителя храма прикосновение к родным местам положило начало перерождению души дорогого мне человека и возрождению заброшенного уголка рязанской земли!

После той поездки папа выкупил родную землю, построил ферму, дал работу многим местным жителям. Приезжайте к нам в гости, и вы воочию все увидите! А Сергей Есенин точно про наш рязанский уголок когда-то написал:

Гляню в поле, гляну в небо —
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.
Снова в рощах непасеных
Неизбывные стада,
И струится с гор зеленых
Златоструйная вода.

Сейчас наша семья живет и в Нижнем Новгороде, и на Рязанщине. Тот поворот в жизни нашего папы — главы семьи — отразился и на всех нас.

Мы с братом окончили воскресную школу и сейчас поем на клиросе в храме Владимирской иконы Божией Матери! Невозможно описать тех чувств, которые испытываешь, славя Господа на воскресной литургии!

Моя мама мечтает, чтобы я поступила в регентскую школу при Московской духовной академии, «под Покров Преподобного Сергия Радонежского!», говорит она. Я же пока не определилась в своем жизненном пути, но знаю точно, что на примере моих родителей своим трудом буду стараться приносить пользу людям.

Есть у меня и увлечение — интерес к русской культуре, быту крестьянских людей. Настоящим открытием стала для меня книга Василия Белова «Лад»! Я узнала, что быт и труд крестьянина был налажен согласно годовому богослужебному кругу.

Говаривали, например, что «ежели Евдокия (14 марта) напоит курицу, то Никола (22 мая) накормит корову».

Отдыхая, крестьянин всего лишь «переводил дыхание», менял тяжелый труд хлебопашца на более легкий, ремесленный: ладом плотничал, копал колодцы, был печником, гончаром, каталем (изготавливал валенки)... словом, был и швец, и жнец, и в дуду игрец!

Прочитанную народную мудрость я стараюсь подсказать и папе. Например, по примете, сев надо успеть до момента, когда сквозь крону березы еще проходят лучи солнца. Если же, стоя под деревом, смотришь на небо, уже не щурясь, то продолжать сев бесполезно. Папа прислушивается, вот и ладно!

В своем сочинении я постаралась показать, как важно нам знать свои истоки, русскую культуру, никогда не забывать, что Россия всегда была и должна оставаться аграрной страной! Любить землю русскую — это все равно что любить свою маму! Без нее или вдали от нее человек не может быть по-настоящему счастливым!

И я думаю, если бы в каждой нашей семье нашелся такой же добрый и трудолюбивый человек, как мой папа, то в скором времени мы бы не увидели наших заброшенных деревень и по-новому расцвела наша Россия!

г. Нижний Новгород





Ульяна БОЙЧЕВСКАЯ

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...

Владыке Димитрию посвящается

Витька долго бежал по железнодорожной насыпи. Одни камни укатывались из-под ног, а другие попадали в широкие ботинки. Он бежал, пока не услышал стук приближающихся колес, но хотя устал и дыхание было на исходе, не мог остановиться. Он услышал крик:

— Поезд! Прыгай!

Витька свалился вниз, ударился обо что-то твердое головой и уже не видел, как к нему подбежал мужчина в оранжевой безрукавке.

— Скорее! Скорее! — кричал рабочий.

Это были последние слова, которые услышал Витя...

Очнулся он в чужой комнате. Диван был мягкий, подушка пахла чем-то свежим и приятным, в комнате было тепло, но не душно, в голове у него пронеслась вся его маленькая жизнь.

Детский приют, шлепки за игры в догонялки, за просьбу положить добавки и даже за молчание. Вспомнилось постоянное желание есть и добрые глаза старой нянечки, которая по вечерам, в свое дежурство, тайком приносила ему сахарное печенье.

Всем хотелось называть кого-то мамой. И обычно так ласково и просто называли воспитателей. А Витьке хотелось называть так нянечку, но он не посмел...

После был интернат. Серый, унылый, скучный, а порой и жестокий. Уже в нем Витя узнал о существовании отца, который отбывал срок в тюрьме, но это не произвело на него большого впечатления. Витька больше думал о матери. Она представлялась ему красивой, нежной, доброй. Но Серега, который был старше его и прошел «школу жизни» на вокзалах, сказал:

— Хорошая мать дитя не бросит.

Витьке стало обидно, он проплакал всю ночь, понимая, что в словах друга есть часть правды, и больше уже ни с кем не делился своими мечтами о матери. Но и на Серегу не обижался, ведь и не за что...

Витька был «щенок», так назывались приютские, а Серега — «батек», но он не зазнавался и не давал Витю в обиду. Пока они жили в интернате и их койки стояли рядом, жизнь казалась вполне сносной.

Однажды Витьке сказали, что приехал его отец. Он обрадовался, но не отцу, а надежде узнать что-то о матери. Отец пришел худой, изможденный, с неряшливой щетиной и наколками, принес сок и печенье. Они вышли за ограду интерната и сели на скамью из хрустящего, ломкого дерева. Отец достал сигареты и спросил Витьку: «Будешь?» Сын покачал головой. Подумав, отец закурил.

Витя даже не помнит, что тот говорил ему. Вроде про то, что вот найдет работу, купит жилье и заберет его. А Витька все думал: «Как спросить про мать?» Но отец сам сказал:

— Мать-то совсем спилась...

— Где она?

— Да под горой живет.

— Отвези меня к ней, — с блеском в глазах попросил Витька.

— Зачем? — удивился отец. — Что тебе там делать? Бутылки считать?

Но все же согласился. Всю дорогу Витя представлял себе встречу с той самой, кого сможет назвать мамой.

Вот они вошли в дом. Бутылок и правда было много. Назвать домом то, куда его привел отец, было невозможно, только труппой или развалюхой. Выбитые окна были заткнуты грязным тряпьем.

Он приготовился увидеть ее пьяную, некрасивую, с дурным запахом, но родную. Обнять ее, прижаться и почувствовать до боли знакомое тепло. Но матери дома не оказалось.

Витька заплакал...

— Чего ревешь? — спросил отец.

И рассказал, что мать родила Витьку после того, как его посадили, в пьяном угаре. И чтобы всякая мелочь не мешала ей жить — выбросила ребенка в окошко. Его подобрали соседи и отдали в детский приют.

Витя не обиделся, не ужаснулся, ему еще больше стало жаль мать. А потом отца снова посадили... Но бедный мальчик даже и не допускал в мыслях счастливой жизни рядом с таким отцом, ведь каждое его слово казалось ему пустотой.

Витя снова вернулся в интернат, и его безрадостное существование продолжалось, но недолго. За Серегой приехал старший брат, и на тихого, немногословного Витьку обрушилась «батьковская» потеха. Ему лили воду в кровать, обзывали. А когда стали выбрасывать одежду, стало невыносимо тошно, и он решил сбежать.

Воспоминание прервала скрипнувшая дверь, вошедшая женщина увидела, что Витька открыл глаза, и обрадовалась. Потом его куда-то повезли, но он был так слаб, что даже от запаха еды тошнило и все время хотелось спать. Ему было все равно, куда ехать, только не в интернат. Хоть на свалку, хоть в ту развалюху, где жила мать, только не обратно к шлепкам, холодной воде в кровати и голоду.

Его привели к большому зданию, похожему на старинный замок. Оно было светлое, с огромными крестами на макушках золотых, сияющих куполов. Там был приятный полумрак, и пахло чем-то сладким, он сразу вспомнил нянькино печенье, звучало

красивое и успокаивающее душу пение. Витьку куда-то посадили, и он провалился то ли в сон, то ли в беспамятство.

Очнулся он от яркого света. Чей-то громкий голос торжественно произнес:

— В начале было Слово!

Говорилось что-то еще, но Витька от слабости закрыл глаза. Он уже не спал, а думал: «Как это — слово?» И вдруг вспомнились глаза седой няни, нежные, добрые, полные любви. Он пытался вспомнить ее слова, но не мог... Да и были ли они? И вспоминая ее, думал: «Нужны ли вообще эти слова? Поучительные, строгие, ругательные, равнодушные, даже гадкие?» Ведь без всяких слов он мог чувствовать любовь к матери, которую никогда не видел. Даже к Сереге!

В начале у него была серая, голодная жизнь, слова звучащие, но ничего для него не значащие. Теперь началась другая жизнь.

Его подвели к необыкновенно одетому человеку и велели поцеловать ему руку, но Вите не хотелось. И вдруг он ощутил на своей голове эту руку. Теплую, ласкающую, и... заплакал.

— Это владыка, — сказали ему.

Витька поднял голову и увидел добрые глаза, нежно глядящие на него. И уже ничего не видя от слез, прижался к нему всем своим худым тельцем.

Потом была учеба в православной гимназии. Житье-бытье с такими же, как он, мальчишками. И был храм. Весь в золоте и росписях, похожий на сказочный корабль. И владыка с добрыми глазами. И много разных слов, но он вскоре понял, что не все они настоящие, потому что уже знал продолжение Евангелия:

«...И Слово было у Бога. И Слово было — Бог!»

г. Тобольск, Тюменская область

ОТ РЕДАКЦИИ

Но не все так просто и монументально в постижении образа России нашими классиками. Вот, к примеру, строки из знаменитого дневника Галины Кузнецовой, бунинской сподвижницы: «Как полезно перечитывать Чехова, Толстого! Мы все-таки забыли, что такое неприкрашенная Россия, а она вот какая! Уверена, что Шмелев, который разводит о ней такую патоку, если бы хоть раз вздумал

перечесть Чехова, постеснялся бы потом взяться за перо. Его потонувшая в пирогах и блинах Россия — ужасна».

Согласятся ли с такой категоричностью участники Шмелевского конкурса? А вы, дорогие читатели?

В следующем номере читайте работы старшеклассников — победителей Шмелевского конкурса.



Флор ГАЛИМОВ



Продолжение. Начало в № 6, 7 за 2018 год

ПОКАЯНИЕ НАД ПРОПАСТЬЮ

Рисунок Марины Медведевой

ТРИЛОГИЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

ВКУС ЗАПРЕТНОГО ПЛОДА

ГЛАВА ВТОРАЯ

Назира оказалась смуглой женщиной лет сорока пяти. После знакомства с посетителями ясновидящая попросила дочь-подростка лечь на кровать, бережно сняла с шеи крест на цепочке и принялась вертеть им над ней:

— Закрой глаза. Давай-ка побываем дома у Лилии-апай! Лети!

— Долетела.

— Какая у них дверь?

— Железная дверь коричневого цвета. Квартира номер один.

— Верно говорит, — удивленно вставила Лилия.

— Глянь-ка, дочка, нет ли чего-нибудь у порога?

— Иголки лежат.

— Извергни из глаз огонь, сожги их и войди в дом!

— Сожгла. Прошла в квартиру... — проговорила девочка и замолчала.

— Почему замолкла? Говори скорее, что видишь?

— Не видно ничего. Как зашла, все стало темным-темно...

— Быстрее назад! Вышла? — В голосе Назиры зазвучала тревога.

— Да.

Назира гортанным голосом прочла какие-то молитвы и приказала:

— Теперь зайди снова, сразу начинай выжигать все огнем, давай!

— Зашла, сжигаю, гаснет — не получается...

Обеспокоенная Назира резко вскрикнула:

— Выходи обратно!

— Вышла... — Дочь тяжело вздохнула.

Назира охрипшим голосом повторила молитвы и вновь приказала:

— Зайди стремительно! Выжигай изо всех сил!

— Зашла, выжигаю! Погасло, не могу...

— Сейчас же выходи!

— Уже вышла...

Наступила напряженная тишина. Назира, чуть помолчав, пояснила:

— Сильную наслали порчу, поэтому дочка не может в дом попасть...

Вспокоившаяся Лилия взмолилась:

— Что же нам теперь делать?! Помогите, пожалуйста, Назира-апай!

Назира посидела молча, уставившись на крест. Оказывается, этот крест, вернее, камешек-галечник в форме креста, она когда-то нашла на берегу речки и с тех пор носила на груди.

— Спросила у креста: велит тебе самой поработать, — сказала она Лилии.

Дочь Назиры облегченно вздохнула и поднялась с места.

— Что я должна сделать, Назира-апай? — спросила оробевшая Лилия.

— Ложись на кровать!

Похоже, желание избавиться от соперницы и женское любопытство пересилили страх перед неизведанным, Лилия легла на кровать.

— Закрой глаза, расслабь все тело!

Назира начала вертеть над Лилией цепочку с крестом, гортанным голосом произнося христианские молитвы вперемешку с мусульманскими. Затем приказала:

— Лети в квартиру!

— Полетела...

— Резко ворвись в дом и начинай сжигать все огнем из глаз!

— Влетела, сжигаю! Уф, дома повсюду грязь, пыль, паутина и иголки!

— Проверь весь дом, все сожги!

— Жгу! О-о, иголки по всему дому раскиданы...

— Обойди весь дом, ничего не упусти, все сожги!

— Ой-ой, и под нашей кроватью, и за диваном раскидали...

— Все сожги дотла!

— Все выжгла! — Вытерев пот со лба, Лилия тяжело вздохнула.

Назира быстрее завертела цепочку, повторила заклинания и снова приказала:

— Теперь посмотри: кто разбросал иголки?

— Вижу! Их раскидывает Зульфия! Она набросилась на меня!

— Перекрести ее! — резко выкрикнула Назира. — Перекрести правой рукой! Не давай к себе прикасаться! Крести и жги!

Лежащая на кровати с закрытыми глазами Лилия подняла руку и начала торопливо крестить воздух:

— Крещу, сжигаю! Зульфия обернулась вороной лощадью! Хочет лягнуть меня!

— Не дай себя лягнуть! Перекрести и сожги! — во все горло завопила Назира.

— Жгу! Превратилась в черную козу, наступает на меня!

— Не дай себя боднуть! Жги сильнее!

— Коза черным-пречерным козленком стала, убегает.

— Не позволяй ей убежать! Закинь аркан!

— Заарканила, но она обернулась черной курицей!

— Перекрести! Сожги!

— В яйцо превратилась!

— Перекрести! Сожги!

— Горошиной стала!

— Крести и жги, пока горошина не исчезнет!

— Крещу, сжигаю! Все, догорела, пропала...

— Ладно, молодец, открывай глаза, передохни немного.

Отерев пот со лба и отдышавшись, Назира похвалила Лилию:

— Есть в тебе сила! Даже дочь моя так ясно не видит...

Салават сидел оглушенный, пытаясь уместить в голове увиденное и услышанное. Выходит, Зульфия и впрямь околдовала их? Как же так? Что ж теперь делать? Эх, Зульфия... Когда шел сюда, надеялся совсем на другое... Сердце болезненно сжалось. Значит, познания Лилии оказались верны: любовница не только приворожила его, еще и порчу навела на его дом? Только что увиденное вновь промчалось перед глазами, и сердце похолодело. А он, влюбленный, видать, не по земле шагал, а по воздуху витал. Как на крыльях. Эх, Меджнун и есть, другого слова не подберешь. Ох, как тяжело и больно свалиться на грешную землю с высоких небес...

— Отдохнули чуток, давайте работать дальше. — Назира выдернула обоих из омута тяжелых мыслей. — Закрой глаза, Лилия, расслабься всем телом! Не бойся, они теперь обессилели. Вспорхни и лети туда, куда крест поведет. — Назира завертела цепочкой над Лилией.

— Долетела до пятиэтажки возле Дома быта, прошла в подъезд.

Салават оторопел, догадавшись, о каком доме идет речь.

— Поднялась на четвертый этаж, зашла в семьдесят пятую квартиру.

У Салавата не осталось сомнений, Лилия говорит о съемной квартире Зульфии.

— Показывают старенький белый чайник на газовой плите...

— Выходит, приворотным зельем поили из него, — сделала вывод Назира.

Салават вспомнил больницу, куда попал после вкусного обеда у Зульфии. Но предпочел не говорить об этом.

— Сожги чайник, кухню и всю квартиру! — велела Назира.

— Жгу! Уже все в огне!

— А теперь лети дальше. Надо выяснить, у кого она сделала приворот! — Назира убыстрила верчение цепочки над Лилией.

— Долетела до небольшого домика на окраине города...

Назира рывкнула, словно командир артиллерийской батареи:

— Огонь! Чтоб ничего от колдуньи не осталось, все сожги!



— Жгу! Весь дом горит! — с удовлетворением выдохнула Лилия.

Беспрерывно благодаря Назиру и хорошо заплатив ей, супруги поехали домой. Всю дорогу молчали, потому как испытывали состояние шока.

Конечно, о ворожбе и всякой нечисти оба слышали с детства. Об этом рассказывали женщины и старухи, каждый день ходившие друг к дружке и коротавшие с рукоделием долгие зимние вечера. Мол, некий парень из их деревни только с помощью приворота смог влюбить в себя неприступную возлюбленную. Или, наоборот, какая-то девушка околдовала парня, не желавшего на ней жениться. В памяти остались и истории пострашнее: дескать, ночью постучался в окно к одинокой женщине мужчина. Она пустила, оставила ночевать... Тот пришел и на следующую ночь. Хозяйка спросила, как его звать, откуда он. Мужчина ответил, что зовут его Вали, родом из такого-то аула. Днем женщина хорошенько расспросила у подруг и выяснила, что в этом ауле не жил человек по имени Вали. А у нее, получается, ночевал бес в человеческом обличье...

Да, как и многие, они были наслышаны о колдовстве и приворотах. Допускали возможность существования магии, но представить не могли, что это необъяснимое явление может когда-либо коснуться их самих, в корне изменив привычную жизнь.

Под воздействием Назиры у Лилии, похоже, тоже открылась способность к ясновидению. Многочисленная ее родня восприняла это с гордостью: вот, мол, какой волшебницей оказалась их Лилия — на три аршина

под землей видит... Они раструбили новость по всей округе, и к Лилии потянулись люди. Кто-то просит посмотреть, куда запропастилась корова, кто-то хочет выяснить причины павшего на его голову несчастья, большинство же обращалось в надежде избавиться от болезней, годами мучающих их, но неподвластных врачебному лечению. А Лилия, как компьютер, четко и ясно выдавала ответ на каждый вопрос. Салават с изумлением спрашивал: «Как это у тебя получается?» Она сказала: «Какой-то голос шепчет мне ответы на ухо, я всего лишь повторяю».

Изредка и Назира, при особо трудных случаях, зовет ее на помощь. Вот и сегодня попросила приехать.

Когда Салават с Лилией вошли, Назира объяснила ситуацию:

— В мой родной аул перебрался жить из города молодой колдун по имени Антип. Купил небольшой домик и камлает жителям. Побывав у него, одна женщина сошла с ума: выгнала мужа, за детьми не ухаживает, корову не доит, дома не убирается. Целый день носит воду и поливает один столб во дворе. Из аула позвонили, попросили привести женщину в чувство. Случай, похоже, тяжелый, надеюсь на твою помощь.

— Я согласна, — не замешкалась с ответом Лилия.

— Конечно, поможем человеку в такой беде. Мы и сами не забываем, какое добро ты нам сделала, Назира-апай. Когда ехать? — осведомился Салават.

— Перед поездкой Лилию нужно малость подготовить, чтобы сил прибавилось, — сказала Назира. — Давай, Лилия, ложись на кровать.

Вытянувшись на кровати, Лилия закрыла глаза и ослабила тело.

— Так, Лилия, тебе надо подняться высоко в небо и набраться там сил. Ничего не бойся, но будь осторожна. Что увидишь, сразу говори мне.

Назира сняла с шеи цепочку с крестом и начала вертеть над Лилией.

— Давай, полетели!

— Взлетела. Быстро поднимаюсь ввысь. О-о, как хорошо летать! Здесь так красиво! — Лилия замолчала.

— Почему умолкла? Не молчи, что видишь, рассказывай мне! — подстегнула ее Назира обеспокоенным голосом.

— Передо мной какие-то темные существа, не хотят пускать дальше, — ответила Лилия.

— Перекрести и сожги их огнем из глаз. Не бойся, это мелочь...

— Только сожгла, показался белобородый старик в белой одежде, улыбается мне.

— Не верь! Перекрести и сожги его! — рявкнула Назира.

Лилия начала торопливо крестить кого-то.

— Сгорел!

— Значит, то была нечисть... Лети дальше!

— Полетела выше, скорость становится все больше. Передо мной — с виду христианский святой, что делать?

— Перекрести и сожги! — гортанным голосом повелела Назира.

— Крещу! С трудом, но сгорел!

— Хорошо, лети дальше!

— Лечу! О-о, как красиво тут! Удивительно красиво!

— Ладно, будь осторожна, смотри в оба.

— Передо мной, кажется, Иисус Христос! Подзывает к себе...

— Сейчас проверим. Перекрести и жги!

— Потихоньку пропадает... — проговорила Лилия разочарованно.

— Значит, тоже был ненастоящий, — пояснила Назира. — Лети дальше!

— Вижу перед собой прекрасный мраморный дворец!

— Лети внутрь.

— Влетела. В большом зале на троне сидит белобородый старик.

— Перекрести и сожги!

Правая рука Лилии бессильно упала.

— Не могу...

— Жги изо всех сил!

— Пытаюсь, но он не горит!

— Жги сильнее, подольше!

— Не горит никак! Подзывает меня к себе...

— Подлети к нему и поклонись.

— Поклонилась. Приложил правую руку мне на голову, что-то сказал.

— Он тебя благословил, силу увеличил. Поклонись в знак благодарности и лети на землю.

— Поблагодарила, вылетела из мраморного дворца.

— Возвращайся скорей!

— Вернулась...

Назира прекратила вертеть цепочкой.

— Хорошо, открой глаза.

Лилия открыла глаза и села на кровать, Назира скорехонько собралась, и выехали в путь.

Когда доехали до аула, она велела остановить машину возле маленького старого домика.

— Ну-ка, поглядим, что за колдун этот Антип. — Назира усмехнулась.

Вошли в дом и застыли на пороге. Худощавый мужичок лет тридцати осматривал довольно симпатичную молодую женщину.

— Ай-ай-ай, красавица, а муж-то твой, оказывается, налево ходит. А ты и сама не плошай, пусть уроком ему будет. Эге-ге, родная сестра тебя ненавидит. Мать только сестру твою любит. А отцу вашему все побо-

ку, ничего не знает, ничего не видит, ничего его не касается...

Ошеломленная женщина с трудом собралась с мыслями и спросила:

— Что же мне теперь делать? Дайте совет.

— Говорю же, сперва надо отомстить гулящему мужу, — продолжал колдун скороговоркой. — Ну-ка, дай руку! О-о, какие у тебя мягкие ладони, вот только холодные. Могильным холодом веет от них. Их немедленно обогреть надо, не то могильный холод до сердца доберется. — Тут Антип наконец обратил внимание на вошедших, с интересом рассматривающих его. — А вы чего ждете? Идите домой, придете завтра, сегодня у меня времени нет.

Назира прокашлялась. Антип внимательно посмотрел на нее и сразу почувствовал неладное. Глаза его нервно забегали.

— Вам чего?!

Назира ничего не ответила. Неспешно подошла к Антипу и, поглядев на него с издевательской, уничижительной улыбкой, презрительно дунула в лицо. Колдун повалился, как подкошенный, на деревянный грязный пол. Назира гневно посмотрела на женщину:

— А ты чего сидишь тут, разиня, веришь рассказам колдуна-недотепы? Семью свою и дом порушить позволяешь! Не верь ни единому слову этого шарлатана, иди-ка лучше домой, приготовь мужу и детям поест. И смотри, чтобы больше сюда ни ногой!

Когда перепуганная женщина тихонько улизнула, Назира подошла к растерявшимся от увиденного Салавату и Лилии:

— Ладно, пойдемте полечим ту женщину.

Антип остался лежать на полу без сознания.

Они подъехали к дому потерявшей рассудок женщины и вошли во двор, где на разные голоса мычали голубые корова с телкой, жалобно блеяли овцы, сердито гоготали гуси, крикали утки. В воздухе стоял густой, неистребимый запах навоза. И тут неряшливо одетая женщина с коромыслом на плечах с наполненными ведрами прошла через калитку и, не обращая на приехавших никакого внимания, направилась в сторону сарая.

— Куда ты несешь воду? — спросила у нее Назира.

— К столбу, — ответила несчастная.

Измощенное и грязное ее лицо выражало полную уверенность в важности выполняемой работы.

— Кто тебе велел столб поливать?

— Антип велел.

— Кто такой Антип?

— Антип — мой бог!

Назира выразительно посмотрела на своих опешивших спутников и продолжила расспрашивать:

— А зачем ты льешь воду под сарайный столб?

— Потому что это не просто столб. — Бедняжка многозначительно улыбнулась.

— А что это?

— Это наш... святой... Не видишь разве, сколько там? Они хотят пить. Сидят и ждут, когда я поливать начну.

Назира резко посуровела. Пронзительно глядя на женщину, она приказала:

— Стой! Посмотри-ка на меня!

Бедная женщина тотчас остановилась и уставилась на нее.

— Вылей воду в то корыто! Пусть скотина тоже напьет.

Женщина безропотно подчинилась, измученные жадной животные и птицы жадно бросились пить.

Назира снова скомандовала:

— Иди за водой!

Назира бережно сняла с шеи цепочку с каменным крестом и, помахивая им вокруг Лилии, приказала:

— Зажмурься и погляди: что там под столбом?

Только не бойся, ничего хорошего ты там не увидишь. Сразу извергни из глаз сильный огонь и начинай жечь!

— Уф, да здесь кишмя кишат какие-то гадкие, темные твари! И мелкие, и побольше...

— Сожги их! Хорошенько сожги, чтоб ничего не осталось!

— Сжигаю! Горят, визжат противно! Сгорели! — воскликнула Лилия.

— Ладно, молодчина, отдохни чуток. — Немного погодя Назира многозначительно добавила: — Ты смотри-ка, а ведь не зря Антип заставлял эту беднягу воду носить.

— Да, не зря, — ответила Лилия.

Когда женщина напоила живность, Назира вновь скомандовала ей:

— Зайдем к тебе домой!

В доме был страшный беспорядок. Выгнанный муж где-то пьянствовал, детей временно забрала к себе хозяйкина сестра. Назира задала женщине очередной вопрос:

— Почему не умываешься?

— Антип не велел.

Назира строго распорядилась:

— Быстренько прими тахарат¹ да с мылом вымой лицо и шею!

— Сейчас. — Женщина послушно выполнила ее приказ.

— Ложись на кровать! Закрой глаза, расслабься!

Женщина беспрекословно повиновалась. Назира подозвала Лилию поближе и начала стремительно вертеть крестом на цепочке над женщиной.

¹ Тахарат (араб. «очищение, омовение») — приведение тела в состояние ритуальной чистоты посредством омовения.

— Уф, внутри забегали! — закричала женщина.

— Ничего, скоро выйдут, — с улыбкой сказала Назира. — Погляди-ка, Лилия, что там у нее внутри?

Лилия, сощурившись, уставилась на ее живот:

— Полным-полно мерзких чернявых тварей с рогами и копытами!

— Это мелкота! Гляди внимательней, за ними должны быть и крупные!

— Ага, за мелкими попрятались те, что побольше...

— Начинай их выжигать огнем из глаз и изгонять вон! Старайся успеть сжечь каждого, кто выскочит!

— Жгу! — Лилия вперилась в женщину свирепым взглядом.

— Ай-ай-ай, скачут в животе, больно! — вскричала бедная женщина.

— Потерпи, скоро от них избавишься, — успокоила ее Назира. И принялась еще быстрее вертеть крестом. — Что там, Лилия, сгорают?

— Да. Мелкие уже вышли, сгорели. Остались покрупнее.

— Значит, слабым каюк! Но там должен быть самый большой, видно его?

— Пока нет, — ответила Лилия, отирая пот со лба.

— Не видно, так голос услышим. Давай, Лилия, жги сильнее!

Вдруг женщина завопила отвратительным мужским басом:

— Ай-ай-ай! Ведь изжаришь заживо! Постой! — Через несколько секунд громкий возглас повторился. — Прекрати жечь, говорю!

Назира довольно улыбнулась и быстро проговорила:

— Вот и голос услышали. — Заметив удивленный и испуганный взгляд Лилии, она поспешила объяснить: — Языком этой женщины говорит шайтан. Не обращай внимания, знай себе, жги! С ним не разговаривай — нельзя! Его болтовне не верь — лжет. — Назира еще проворнее завертела крестом.

— Ай-ай-ай! И почему вы помогаете этой дурной сплетнице? Нашли кому помочь: она же замужем и за детьми толком не ухаживает, целыми днями по улице слоняется. Сплетни разносит и скандалит направо! Не знаете разве?! Ай-ай-ай! — взревел мужской голос.

Назира с Лилией переглянулись, улыбнулись друг другу и продолжили изгонять шайтана. А Салават смотрел и дивился.

— Ой-ой-ой! Говорю же, отстаньте, вашу мать... — Омерзительный мужской голос матерно выругался.

— Не обращай внимания, Лилия, не вздумай с ним заговорить, продолжай работу, — сказала Назира.

— Продолжай работу, продолжай работу! Тоже мне работничек! — начал дразнить тот же голос. — Торчит тут, машет своим крестом... Кабы не крест, сама ни на что не годишься. Кто ты такая, тоже хорошо знаем. Ай-ай-ай! Хватит жечь, мать вашу... — Мужской голос снова начал грязно ругаться.

По лицу Назиры пробежала тень гнева, но она промолчала. Обе смахнули пот со лба и продолжили работать. Немного погодя, похоже, изгоняемый решил сменить тактику:

— Уф-ф, и я устал, и вы утомились. Девчата, давайте отдохнем чуток! Чайку попейте.

Назира с Лилией переглянулись, снова усмехнулись, но без слов продолжили свое дело.

— Ой-ой-ой! Не люди вы... Ай-ай-ай! Девчата, предлагаю взаимовыгодный договор: я эту бабу оставляю, а вы, когда буду выходить, не сжигаете меня. Договорились?

Назира с Лилией промолчали. На краткий миг наступила тишина.

— Ах вы, гадалки хреновы, волховки! Против своих пошли, ведьмы?! Никак не уговоришь, мать вашу... — После неудавшейся уловки отвратительный голос снова перешел на грязную ругань.

В этот момент стремительно вертевшаяся цепочка Назиры внезапно запуталась, и крест остановился. Заметившая это Лилия, желая помочь, потянулась к кресту. А Назира вдруг вскинула на нее свирепый взгляд и грубо заорала: — Не прикасайся к кресту!

Лилия ответила ей укоризненным взглядом и продолжила действия.

— Ха-ха-ха! — Мужской голос зловеще расхохотался. — Видишь, чего добывается Лилия? Хочет отобрать крест твой! Не хотел говорить, но придется: скоро она отнимет у тебя крест! Ха-ха-ха! Что ты будешь делать без креста своего, сделанного из камешка? Несвященного, ха-ха-ха!

Назира не подала виду, но, похоже, эти слова ее сильно задели. Она побледнела. Лилия поспешила ее успокоить:

— Назира-апай, не будем поддаваться науськиванию шайтана — он лжет: не нужен мне твой крест.

Назира с трудом взяла себя в руки, распутала цепочку и, еще быстрее завертев ею, начала читать христианские молитвы вперемешку с мусульманскими. Лилия тоже, напряженно сощуриив глаза, старалась усилить свое воздействие.

— Ой-ой-ой, горю, жарюсь! Ну все, хана мне. Пропадите и вы пропадом, колдуны! До встречи в аду, волхатки... — Окончательно ослабевший мерзкий голос прервался.

В этот миг бедная женщина открыла глаза. В ее взгляде появилась осмысленность.

— Ох, как пусто стало в животе. Я бредила во сне?

Она напоминала с трудом очнувшегося от тяжелого сна человека.

В дом вошла женщина средних лет с двумя пакетами в руках. Это была родная сестра хозяйки дома. Поставив полиэтиленовые пакеты на стол, она протянула обе руки, как принято в ауле:

— Здравствуй, Назира-апай, мы с таким нетерпением ждали тебя. — Женщина внимательно взгляделась в младшую сестру. — Как ты? Очухалась, наконец, от колдовства Антипа?

— Нормально, — ответила хозяйка дома, виновато улыбаясь. — А где муж с детьми?

— Скоро вернутся. — Успокоив сестру, женщина повернулась к Назире. — Я соседям так и сказала: если кто и избавит ее от этой напасти, то только Назира-апай. — Она вручила ей пакет. — Назира-апай, спасибо тебе большое за помощь моей сестренке! Вот принесла тебе гостинцы: гуся, сметану свежую, хлеб свежееиспеченный. Прими, пожалуйста, не обессудь.

Назира взяла гостинцы со скупой улыбкой. Второй пакет женщина протянула Лилии:

— Спасибо и вам, что приехали помочь моей сестре. Что бы без вас делали!

Лилии и Салавату стало неудобно: ведь они приехали сюда не ради платы, а с целью помочь женщине, попавшей в беду.

— Не нужно, не стоит, — замотала головой Лилия.

— Берите, пожалуйста! Вы с Назирой-апай спасли мою сестру от безумия. От чистого сердца даю! Не примете — мне тяжело будет на душе. — Она так просила, что Лилия была вынуждена взять гостинцы.

Как только Лилия начала помогать людям, вопрос оплаты услуг стал для нее довольно деликатным предметом. Хотя посетителям ее действия казались волшебством, ее работа была нелегкой. После сеансов Лилия чувствовала себя как выжатый лимон и подолгу лежала, набираясь сил. Салават понимал это и все же сразу поставил условие: «Денег для семьи добываю достаточно. Слава Аллаху, не нуждаемся. А ты ни копейки не бери. Дай бог, чтобы помощь твоя людям стала савабом¹. Я и сам помогу тебе в работе. Пусть добро, которое мы делаем, вернется сторицей если не нам, то детям нашим». Да, они искренне полагали, что делают людям добро, наивные...

Но, наотрез отказываясь от денег, Лилия никак не могла отвергать ризык: хлеб, молоко, масло, мясо,

¹Саваб (араб.) — в исламе: вознаграждение, которое дает Всевышний в загробной жизни за благие, добродетельные и богоугодные дела в земной жизни.

приносимые из аулов с искренней благодарностью. Да и адат¹ не позволял. Все аульчане в пакет с гостинцами обязательно клали и хлеб. Столько хлеба самим было не съесть, и Лилия раздавала излишки соседям.

На выезде из аула Назира снова велела остановиться возле дома Антипа. Посмотрев на Лилию исподлобья, она сухо приказала:

— Доведем дело до конца: сожги дом Антипа!

Лилия повернулась к дому колдуна и прищурилась:

— Жгу! Загорелся...

Спустя несколько минут Назира спросила:

— Весь дом в огне?

— Да, полыхает вовсю...

— Ладно, тогда поехали.

Смеркалось. Пошел крупными хлопьями снег. И ветер усилился, норовя застелить белым покрывалом зимнюю дорогу. Салават погнал машину. Надо было спешить домой, пока по-настоящему не разыгрался буран.

Назира за всю дорогу не обронила ни слова. Между ней и Лилией пролегла тень отчуждения. Назира не могла допустить даже вероятности, что кто-либо посмеет покушаться на столь дорогой для нее крест. А горделивая Лилия не простила, что Назира на нее накричала. Потихоньку досадное недоразумение превратилось в чувство неприязни друг к другу.

Скоро до них дошла весть: каким-то образом узнав о случившемся с Антипом, из города приехали его соратники по магическому ремеслу. Всю ночь камлая над ним, они сумели поставить его на ноги. Но злключения колдуна на этом не закончились. Ночью дом Антипа непонятным образом загорелся. Выскочив из охваченной огнем избы, Антип метался, задыхаясь от злости, и леденящим душу голосом орал на всю округу: «Уничтожу весь аул! Истреблю ваш род! Изведу под корень!» Набежавший на помощь местный люд отшатнулся от рассвирепевшего колдуна. Даже собаки, поскуливая и поджав хвост, предпочли убежать от Антипа подальше.

¹ Адат — традиционные правила поведения в исламе.

Продолжение следует.





Мик Стернер СЕНТ-ПОЛ

Мик Стернер Сент-Пол (1894—1972) — американский полковник и писатель. Автор рассказов для детей, научно-фантастических произведений, в том числе сборника рассказов «В Замбоанге у обезьян нет хвостов», романов «Барабаны Тапайоса» и «Трояна». В «Юности» (№ 10—12 за 2016 год) печатался его рассказ «В космос». Рассказ «Ужас морей» был опубликован в журнале *Astounding Stories of Super-Science* за декабрь 1930 года.

Рубрику ведет
Евгений Никитин



Евгений Никитин родился в 1992 году. Заведует отделом зарубежной литературы журнала. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года. Лауреат премии зеленого листка в номинации «Начинающему автору» журнала за 2013 год. Печатался также в «Независимой газете», журнале «Плывущий мост». Выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета по специальности «перевод и переводоведение», учится в магистратуре Российского государственного гуманитарного университета.

Продолжение. Начало в № 3, 4, 5, 6, 7 за 2018 год

УЖАС МОРЕЙ

Доктор Берд поспешил к Хэррону. Бетон и камень по-прежнему надежно замуровывали вход в пещеру, однако неподалеку от входа обнаружилась стальная дверь. Никаких следов замочной скважины — как она открывалась, непонятно.

— Вы поставили эту дверь? — спросил Карнс.

— Нет, сэр. Мы надежно запечатали все выходы. Похоже, дверь появилась позже.

Ученый внимательно осмотрел конструкцию. Потрогал ее рукой, провел пальцем вдоль кромки, затем достал из кармана маленький компас. Пару секунд стрелка бешено вращалась, прежде чем остановиться и указать точно на дверь.

— Магнитный замок. Если найдем источник питания, легко откроем дверь. Но поиски могут занять неделю. Как бы то ни было, мы нашли то, за чем пришли: контрабанда шла с этой базы. Мистер Хэррон, попрошу вас поставить у двери вооруженную охрану. Она должна нести дежурство круглосуточно, пока я лично не отменю приказ. Помните: именно лично — приказы, отданные по

радио или в письменной форме, не в счет. Уничтожайте или берите в плен тех, кто попытается войти либо выйти через этот вход. Теперь мы знаем, что в пещеру легче попасть под водой, и именно там я намереваюсь атаковать. Что касается двери, с ней разберемся позже. Лейтенант Минден, можете остаться здесь с мистером Хэрроном, если хотите, или же составить компанию мне и Карнсу. Мы отправляемся на борт «Миннеконсина».

Самолет с ревом взмыл в воздух и понесся вдоль берега. Полчаса спустя в поле зрения появился идущий на полной скорости корабль. Доктор Берд отдал приказ по радио, и через час приземлившихся на берегу пассажиров подобрала шлюпка. Как только они оказались на борту, «Миннеконсин» продолжил путь. Два часа спустя пик, который ученый отметил на карте, уже вышался перед ними.

— Подплывите к берегу как можно ближе и начинайте спуск, — велел доктор. — Когда мы достигнем дна, вы будете получать инструкции

по телефонному кабелю. Пойдемте, Карнс, нам пора.

Детектив залез в глубоководную сферу вслед за ним. «Миннеконсин» подошел к берегу. Огромный металлический шар был осторожно поднят с палубы и погружен в воду. На глубине в двести саженей царил непроглядная тьма, так что Берд включил один из встроенных прожекторов и внимательно осмотрел возвышающийся всего в сотне ярдов утес.

— Карнс, похоже, мы ошиблись местом. Придется попросить «Миннеконсин» поднять нас на поверхность и протаскать на буксире вдоль берега.

Он взял телефонную трубку, и вскоре аппарат был поднят вверх. Корабль дал медленный ход и поволок сферу за собой. Так они проплыли с четверть мили, прежде чем Берд дал стоп-сигнал:

— Какая здесь глубина? Восемьдесят саженей? Отлично, тогда будьте любезны — погружаемся.

Когда сфера опустилась на дно, доктор включил еще два прожектора и осмотрелся. Дно было буквально усыпано панцирями раков и крабов. Тут, то там валялись рыбные скелеты, а также несколько костей, явно принадлежащих сухопутным животным. Карнс охнул от изумления при виде водолазного шлема.

— Мы на правильном пути, — мрачно заметил ученый.

Он подошел к телефону и велел поднять аппарат на сотню саженей. Корабль продолжил путь вдоль берега, пока Берд не приказал остановиться. Перед их глазами предстал вход в огромный подземный тоннель — пещера высотой футов в двести и шириной футов в триста. Даже мощные прожектора не могли разглядеть, где она кончается. На дне обнаружилась очередная груда костей, и Карнсу даже показалось, что он разглядел там второй шлем водолаза. Доктор жестом обратил внимание спутника на своды пещеры:

— Видите эти прожектора? Они прикреплены к утесу таким образом, чтобы их лучи скрещивались на входе в тоннель. Очевидно, пещера служит тюрьмой, а лучи — прутьями клетки. Сейчас ее обитателя там нет, в противном случае прожектора бы горели... Боже мой!.. Карнс, взгляните!

Карнс посмотрел в указанном направлении и тоже не сдержал изумленный вопль. Из сте-

ны пещеры выступала протяженная, наполовину скрытая в водорослях скала. К ней прижалось огромное существо. Оно напоминало гигантского черного слизня с рудиментарными глазами и пастью. Длинной оно было футов пятьдесят, а в диаметре — целых пятнадцать футов. Существо зависло на месте, вяло подрагивая, как будто дыша, а свисающие с одного конца маленькие щупальца шевелились в воде.

— Что это, доктор? — спросил Карнс дрожащим голосом.

— Типичная трохофора гигантского осьминога — легендарного ужаса Индийского океана. Только увеличенная тысячекратно. Когда осьминог откладывает яйца, из них вылупляются личинки. Свободно плавающую личинку называют трохофорой, и я уверен, что перед нами именно она. Но посмотрите, каких размеров! Боже милостивый, боюсь представить, во что она превратится, если вырастет!

— Я видел картинки с гигантскими осьминогами, утягивающими в бездну корабли. Но я всегда думал, что это просто миф, что их не существует, — сказал Карнс.

— Так оно и есть. Чудовище перед нами порождено не естественным образом: дюжина таких тварей опустошила бы за год весь океан. Столь извращенная пародия на природу могла быть задумана только в мозгу безумца, а появиться на свет — только благодаря какому-то вмешательству в эндокринную систему. Саранов годами экспериментировал в этой области. Не сомневаюсь, что он сумел увеличить щитовидную железу обычного осьминога, чтобы произвести гиганта. Думаю, родитель этого существа был нормальных размеров, равно как и его братья и сестры. Феномен гигантизма таких масштабов бывает лишь через поколение, и то в крайне редких случаях. Однако дедушка трохофоры может находиться неподалеку... Как жаль, что здесь небезопасно плавать в субмарине.

— Небезопасно? Почему?

— Тот, кто способен затянуть под воду «Аретузу», без труда сокрушит хрупкую субмарину. Кроме того, флотские подводные лодки не приспособлены для подводных исследований, в отличие от нашего аппарата: радиус обзора у них весьма ограничен, мощных прожекторов нет. Хорошо бы уничтожить тварь, но это можно оставить на потом. Сейчас оптимальный для нас вариант — погасить огни и ждать.

Доктор щелкнул выключателем, и сфера погрузилась во мрак. С находящейся в сотне саженной поверхности пробивалась лишь крохотная ис-

корка света. Исследователи глубин уставились на темные воды...

Окончание следует.

Перевод с английского Евгения Никитина



<http://gallery.world/wallpaper/578024.html>



Рубрику ведет
Наталья Якушина

Наталья ЯКУШИНА

Наталья Якушина родилась в 1975 году в Бресте. Сейчас живет в городе Красноармейске Московской области. Окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Член Союза писателей Москвы. Член Содружества писателей-выпускников Литературного института. Прозаик и драматург. Организатор Международного драматургического конкурса «ЛитоДрама», семинара драматургов при театре «Школа современной пьесы». Рассказы опубликованы в журналах «Юность», «Русский пионер», «Кольцо А», газетах «НГ-Экслибрис», «Московский комсомолец», различных сборниках. Внештатный корреспондент газет «НГ-Экслибрис» и «Книжное обозрение».

Злые языки судачат о том, что меня в «Юности» печатают, потому что я готовлю удивительные драники. Но это чистая правда! Блюда из картошки творят чудеса.

Когда мой брат приходил домой и я его приглашала на ужин, он говорил: «Не, я не хочу есть». А я говорила, что драники. «Ах драники! — вспыхивал брат. — Так сразу бы так и сказала, что драники! Драники я хочу всегда!» И ели мы их с большим объемом сметаны. Можно даже сказать, что это сметана была с драниками, а не драники со сметаной.

И главный редактор Валерий Дударев — большой поклонник драников. Да и кто бы устоял! А вот Игорь Михайлов, заместитель редактора, наивный, он даже представить не может, как готовят драники.

В общем, путь к любому редактору лежит через желудок, это я вам точно говорю.



Теперь у меня появилась достойная конкурентка — Оксана Горич (Костромина) из Братска. Она и драники умеет готовить, и в картошке понимает толк, и в рыбе, и вот еще умеет готовить настоящий черемуховый пирог!

Кстати, Оксана просит всех присылать свои книги в дар с автографом в Библиотеку Русской поэзии XX века имени В. Сербского по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Наймушина, 54. Где надеются собрать самую полную коллекцию книг современных поэтов. Так давайте поможем!

А в этом номере — дебют Оксаны Горич в «Юности».

Наталья Якушина

ОКСАНА ГОРИЧ

Оксана Горич (Костромина) родилась в 1963 году в г. Зиме Иркутской области. Окончила биофак Иркутского госуниверситета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, работает на лесопромышленном факультете Братского госуниверситета. Печаталась в иркутской областной газете «Культура», альманахе «Иркутское время», журнале «Сибирь» и в альманахах «Шклинда» (г. Братск). Живет в Братске.



КАРТОШЕЧКА

За окнами поезда мелькают здания вокзалов и водонапорные башни, пологие лесистые сопки и светлые березовые колки, рядом со станционными домиками, а то и прямо в лесу попадаются правильные прямоугольники — зеленые, желтые или бело-фиолетовые. Именно белые или фиолетовые цветы у картошки.

Раньше на больших станциях не обходилось без теток или бабушек, бойко торгующих домашней снедью. В Тайшете это обычно чебуреки и жареная курятина. А вот в Зиме вас обязательно встретит рассыпчатая отварная картошечка с растительным маслом и зеленым лучком или вареники с той же картошкой и жареным луком.

Картошки в Сибири всегда сажали много. В наших краях — с холодной весной и ранними заморозками — с картошкой можно и самим прожить, и скотину вырастить. Да и вырастает она здесь особенно вкусной. Далеко тянулись ее полосы, часто ничем не огороженные.

Огрести картошку обычно выходили вдвоем на рядок — каждый со своей стороны — быстрее получается и работа за разговором спорится. Встанешь спозаранку, пока не жарко, берешь рядок, другой рядок обратно, потом еще рядок, и еще... И так до обеда. А на веранде уже ждет тебя свежий янтарный мед и холодное молоко, окрошка и теплый хлеб.

— Давай за голубикой сбегает, — предлагает папа. — Пока мошкары меньше, хоть на вареники наберем.

Лесок начинается за оградой и переходит в небольшое болотце. Вот и кустики голубики с крупными сине-сизыми ягодами — они сами осыпаются прямо в горсть. Запахи нагретой сосновой хвои и прелой листвы смешиваются с пьянящим ароматом цветущего багульника. Пора домой. Будут сегодня вечером страшенькие синие и необыкновенно вкусные вареники с голубикой — любимое папино лакомство.

Первую картошку начинали пробовать после цветения. Баба Маруся могла отыскивать клубни, не повреждая сам куст, чтобы оставшиеся более мелкие клубни наливались. Но первая картошка обычно была несозревшей, водянистой, и варили ее прямо в кожуре. Хватало и других забот — грибы, брусника — лес-то рядом. В конце августа или в начале сентября в сухие погожие дни приходил черед и картошке. Копать же обычно выходили всем миром.

— Картошка колхоз любит, — приговаривала баба Маруся. — Сначала бабе Фене выкопаем, а потом они нам помогут.

И действительно, споро выкапывали картошку сначала одним родственникам, а потом другим. Бабушки копали руками, как привыкли еще их белорусские предки, бережно перебирая земляные комья. Нам же больше нравились различные копорульки — приспособления, согнутые из толстой стальной проволоки. Картошку сразу же сортировали на «едовую» и семенную.

— Ты куда бросаешь? Если можно очистить — на еду. — Тоже бабушка.

Во время работы можно поговорить «за жизнь» и много неожиданного узнать о своих близких, например о том, что совершенно домашняя забайкальская бабушка Феня в юности ездила на лошади на базар в Улан-Батор. Да, да, тот, что в Монголии. Другой такой возможности поговорить я и не припомню.

— Зачем только насадили эту картошку! — Сын начал уставать.

— Разве ж это много, — говорю ему, — за день-два управимся. Вот когда я в школе училась — мы весь сентябрь могли на картошку ездить, только в дождь учились.

— Как это? Использовали детский труд? — возмущается сын. — И ничего вам не платили?

— Говорили, что дают картошку для нашей школьной столовой. Да и не думал никто тогда ни про детский труд, ни про оплату. Это была помощь колхозу.

— И вас потом бесплатно кормили?

— Нет, за деньги. И на поле мы еду с собой брали.

— Но это же несправедливо!

— Знаешь, не видели мы в этом ничего страшного. Все ездили — и школьники, и студенты, — обычное дело. В студенчестве мы выезжали на картошку на весь сентябрь, жили в палатках или вагончиках, умывались холодной водой и не могли избавиться от земли, постоянно скрипевшей на зубах.

Ну вот, картошка выкопана, подсохла, можно ее засыпать в мешки и везти в подвал. Мешки и были самым большим дефицитом, хотя нужны были лишь на время — довезти картошку до подвала. Городские жители тоже выращивали картошку, часто на постоянном поле. И эти поля не имели оград и ворот — только межи, никем не нарушаемые.

Сколько раз соприкасались картофельные клубни и человеческие руки? Сколько раз за эту сотню лет проходила через эти руки наша серая лесная сибир-

ская землица? Каждая горсть этой земли согрета и одушевлена человеческим теплом. Говорят, что есть память у воды. А у земли есть память? И как она вспомнит о нас?

А сколько картошки пришлось перечистить, особенно в студенчестве — в колхозе или на практике, — ведерные бачки. Очистить молодую картошку легко — тонкая шкурка легко слезает. Баба Маруся чистила ее щепочкой. Потом шкурка становится толще и все сложнее ее срезать тонко и чисто. Однажды я видела, как чистила картошку прабабушка Настя. Она была высокой костистой старухой в традиционном платочке, потолок избы при ней казался ниже. И руки были под стать — крупные, мосластые. А в руках вилась тонкая почти прозрачная шкурка идеально ровной спиралью.

— Как получается такая тонкая шкурка? — спросила я прабабушку.

— С войны привычка осталась, — ответила мне баба Настя. — Только картошкой и выжили.

Уборку картошки принято было отмечать драниками. Это блюдо из картофеля предки, вероятно, вывезли из Белоруссии, а здесь, в Сибири, оно обрело новую жизнь. На драники приглашали родню, угощали соседей. Они получались поджаристыми, нежными и душистыми. Их ели с деревенской сметаной. И никто не задумывался о холестерине и здоровом образе жизни. Это было просто вкусно. До сих пор любимое блюдо в нашей семье — драники, особенно из молодой картошки.

Августовское утро. Поднимается над крышами уже неяркое солнце. Я смотрю с крыльца, как мой повзрослевший сын идет с вилами на картофельное поле. Вскоре и мы все подтянемся туда с ведрами, мешками и копорульками. Нужно выкопать картошку, пока стоит сухая погода. А ближе к вечеру я уйду с поля пораньше с ведром новой веселой желтой картошки, чтобы встретить вернувшихся с поля детей горкой душистых румяных драников.





Владимир ХОХЛЕВ

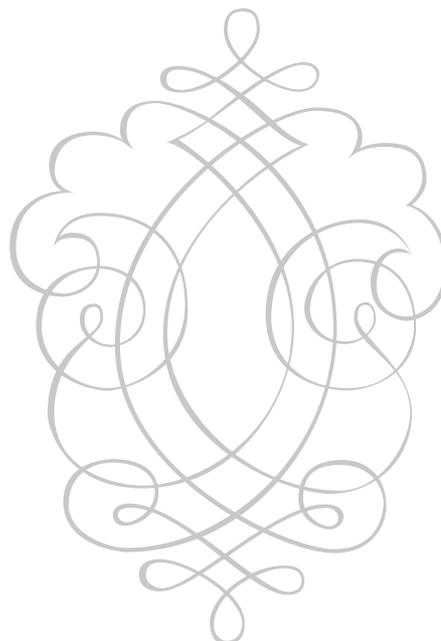
Владимир Хохлев родился в 1961 году в городе на Неве. В 1985 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской академии художеств (специальность — архитектура).

Член Союза писателей России, Международного литературного фонда и Литературного фонда России, Международной ассоциации писателей и публицистов. Действительный член, профессор Академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина. Автор пятнадцати книг и многочисленных газетных и журнальных публикаций в России и за рубежом. Постоянный участник возрожденного альманаха «День поэзии — XXI век» и альманаха «День православной поэзии» (2008).

Лауреат литературной премии имени Бориса Корнилова (2008) и премии «Золотое слово» (2013).

Член жюри литературных премий имени Бориса Корнилова и имени Юрия Инге. Член редколлегии Всероссийского альманаха «День поэзии — XXI век. 2017».

Главный редактор журнала «Невечерний свет / Infinite» и информационного портала hohlev.ru. Живет в Сибири.



* * *

Рукой прикоснулся к солнцу,
 обжегся, отдернул пальцы.
 Холодной морской волною
 и ветром их обернул.
 Задумался о природе,
 смахнув с пиджака пылинку,
 Заметил в траве движение
 и голову к ней пригнул.

Взглядом уперся в камень,
 прикрыв его тенью синей,
 Заметил, что рядом с полем
 бликует дужка очков.
 Увидел, что по наклонной
 к земле, к плоскости неба,

Верхушек сосен касаясь,
Скользит стрелка часов.

Встал, и земля уплыла —
вниз, далеко уплыла,
Мелкие скрыв детали
и трещины на земле.
Иду и глазам не верю —
навстречу идут деревья,
И ветками мне кивают
колючими и в смоле...

Блаженный

Он слышит свет и видит звук,
когда под перезвон зеркальный
жизнь, состоящую из мук,
накроеет тайна.

Походкой медленной, кривой
в обносках на немывтом теле
бредет он, словно не живой...
Без цели.

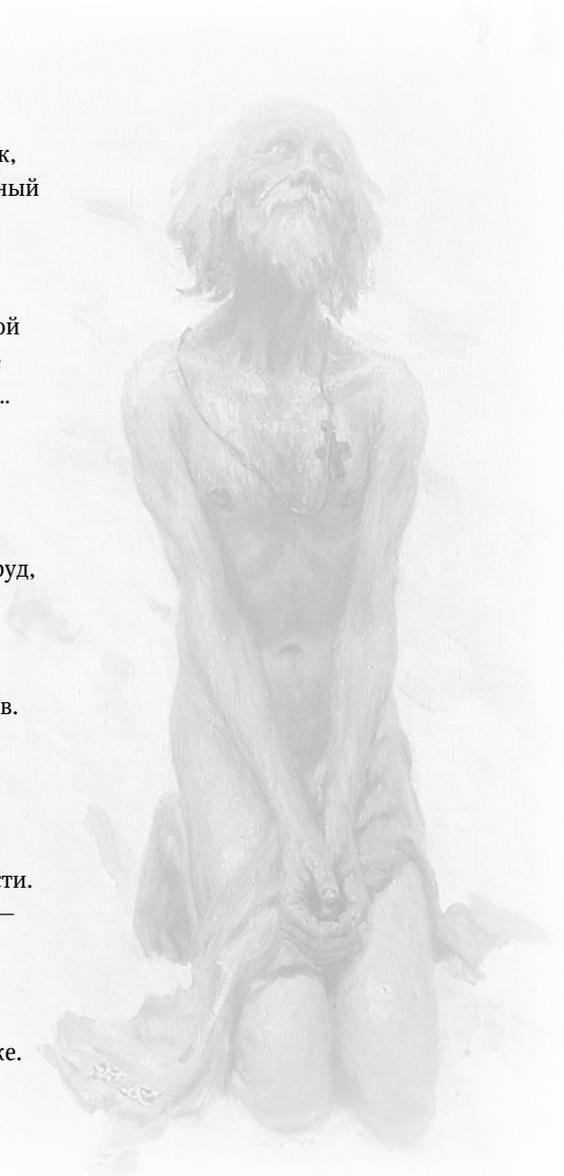
Он ест лишь то, что подают,
мешает сладкое с соленым.
Он любит безвозмездный труд,
скрывает стоны.

Он отрешен, всегда — один,
не строит из желаний планов.
Он раб себе... И господин.
Ловец изъянов.

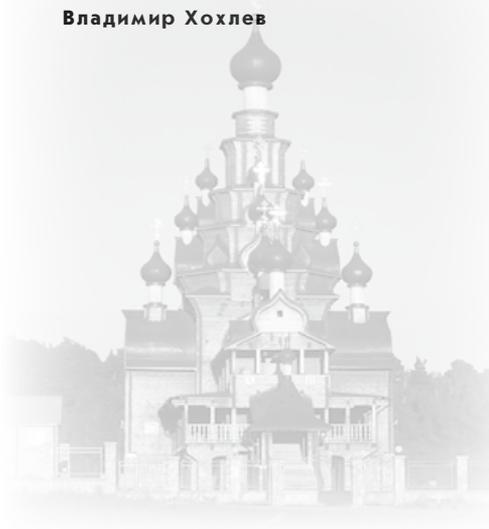
Его боятся, гонят, бьют,
стремятся «к норме» привести.
Он недвижим, как абсолют —
не растрясти.

Рукою долго темя трет —
почти до дыр на темной коже.
В рубахе камень бережет.
И строит рожи.

Юродствуя вбегает в храм,
иконы изучает строго...
Хохочет, лупит по ушам...
Зрит Бога.

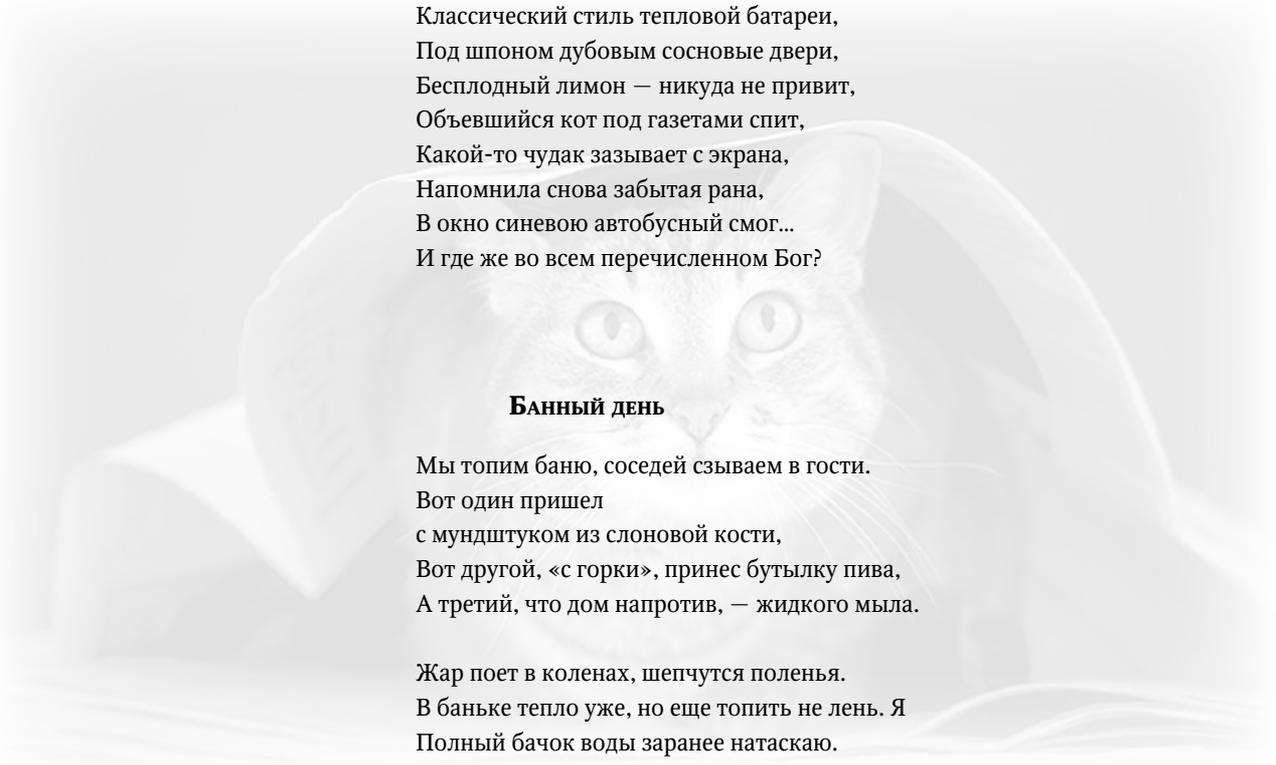


ЛУННАЯ НОЧЬ



Цвета нет, деревья плоски,
Красит серебром луна
Две бегущие полосы
От платформы полотна.
Звуков нет, лишь лай собачий
Будит тишину окрест,
Голову в сиянье прячет
Разметавший руки крест.
Звезды смотрят друг на друга
В неба черной глубине.
Борозда ночного плуга —
Млечный путь в упругом сне.
Над деревней Бог хлопочет,
Льет серебряный покой
В душу каждому, кто хочет
Жизни чистой и простой.

* * *



Две туфли в углу, словно лодки у пирса...
Стакан на молу подлокотника. Скисла
Капуста, заквашенная для зимы,
Дожившая в рамках до «Костромы».
Классический стиль тепловой батареи,
Под шпоном дубовым сосновые двери,
Бесплодный лимон — никуда не привит,
Объевшийся кот под газетами спит,
Какой-то чудака зазывает с экрана,
Напомнила снова забытая рана,
В окно синевую автобусный смог...
И где же во всем перечисленном Бог?

БАННЫЙ ДЕНЬ

Мы топим баню, соседей сзываем в гости.
Вот один пришел
с мундштуком из слоновой кости,
Вот другой, «с горки», принес бутылку пива,
А третий, что дом напротив, — жидкого мыла.

Жар поет в коленях, шепчутся поленья.
В баньке тепло уже, но еще топить не лень. Я
Полный бачок воды заранее натаскаю.
И на полке, потом, телом чуть не растаю.

Веник березовый жарит лопатки, спину.
Сосед старается, шапку на лоб сдвину.
Без рукавиц руки сожжешь паром.
Парьтесь, соседи!
Баня для всех!
Даром!

МАРТ

Кусочки неба сложились в небо,
из тонких нитей соткался свод.
Клевала жадно краюху хлеба
ворона. Мирно спал сытый кот.

Тянулись сосны куда-то выше,
остатки снега покрылись льдом.
Сидело солнце на скате крыши,
лучи в пылинках пронзали дом.

Трещала печка сухой березой,
забытый чайник гонял пары.
Соседка слева с отборной прозой,
весну встречая, трясла ковры.

г. Санкт-Петербург





Вита ЛИХТ

Окончание. Начало в № 6, 7 за 2018 год



УРОК ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ

Додик отшатнулся и как-то вмиг стал ниже ростом. Он повернулся и понуро пошел по длинному коридору в свою комнату. Его лыжная шапочка мерно раскачивалась в такт шаркающим по паркету тапочкам.

— Хорошо вымой! — ударила его в спину Сонечка.

Через несколько дней стало совершенно ясно, что Додик поспешил с выпиской, но возвращаться в больницу отказался наотрез. Он почти перестал выходить из дальней комнаты и не выпускал из рук стаканчик со своими камнями.

Сонечка, которую больше никто не решался тащить на прогулки и не заставлял передвигаться по квартире, к великому своему удовольствию все время проводила в постели. Когда ей было что-то нужно, она звала меня:

— Где ты? Иди сюда. Я писать хочу. Иди сюда.

— Ты где? Как там тебя? Неси обед...

Додик, отслужив свой срок, бесполезной вещью сидел в дальней комнате. Каждый раз, когда

Сонечка звала меня, он с надеждой вслушивался в ее голос. Но Сонечка, очень быстро поняв, что от Додика больше нет никакого проку, вовсе не вспоминала о муже.

— Что, так и не разговаривают? — спросила меня тетя Лида.

— Нет, — ответила я. — Он о ней ничего не спрашивает, она о нем тоже.

— Так дело дальше не пойдет, — задумчиво произнесла тетя Лида. — Знаешь что, послезавтра у Додика день рождения. Давай-ка мы на стол накроем, сядем все вместе и помирим их!

— Думаете, из этого что-то получится? — засомневалась я. — Да у Додика и диета строгая, ему ж ничего нельзя.

— Я запеканку творожную приготовлю, кремом легким каким-нибудь украшу и фруктами. Чем не торт?! — явно довольная своей идеей, воскликнула тетя Лида. — Решено. Так и сделаем! Помирятся! Никуда они у меня не денутся. В первый раз, что ли, я их мирю!

И вот с утра тетя Лида колдует на кухне у плиты. Сонечка, со-

блазненная именинным тортом, согласилась встать с кровати и обедать за столом. А Додик как-то растерянно затих в своей комнате. В назначенный час тетя Лида отправилась в большую комнату за Сонечкой, а я в дальнюю за Додиком.

— Я не знаю, что мне надеть, — сказал он, стоя перед открытым платяным шкафом. — Костюм, конечно, надевать не стоит, но и в халате появляться негоже.

— Я думаю, что вот эти брюки и голубая рубашка, — посоветовала я. — Голубую рубашку обязательно. Она вам очень идет!

— Правда? — встрепенулся Додик. — Пожалуй, ты права.

Нагнуться Додику было еще больно. Швы после операции почему-то долго не заживали.

— Я помогу вам, — предложила я. — Да вы не стесняйтесь.

— Поможешь? Мне? — удивленно спросил Додик.

— Конечно, — ответила я. — А что тут такого?

— Давыд, Вера! Идите за стол! — позвала нас тетя Лида. — Вы готовы? Скоро там?

Додик как-то бестолково заметался по комнате, а затем, посмотрев на себя в зеркало, воскликнул:

— Побриться... побриться забыл! Вера, ты знаешь, где моя бритва? — спросил он, беспомощно глядя мне в глаза.

— Да вот же она, — ответила я, протягивая электробритву.

— Ну, чего вы копаетесь? — спросила тетя Лида, заглядывая в комнату.

— Лид, я это... — виновато пробормотал Додик. — Я побриться забыл.

— Ой! Красавец, Давыд! Красавец! И рубашка в цвет глаз! — Тетя Лида по-свойски оглядела смущенного Додика со всех сторон.

— Вер, ты побрей его сама. Так быстрее будет. Соня уже за столом сидит, — сказала мне тетя Лида. — А я пока за соком в киоск сбегаю. И шапочку лыжную у него с головы сними. А то ж что это за новорожденный в лыжной шапочке! Верно? — подмигнула она совсем обалдевшему от всей этой суеты Додику.

Додик волновался, словно жених перед свадьбой. Осторожно переступив порог своей комнаты, он направился в кухню. Но дело это оказалось не простым. Болезнь и долгое сидение в одинокой келье сделали свое дело. Ноги Додика предательски дрожали и цеплялись на каждом шагу за бесконечные ящики и тумбочки, которыми был заставлен коридор. Додик держался правой рукой за бок, а левой рукой опирался на меня. И вот когда путь уже почти был близок к концу, зазвонил телефон.

— Это Костик! — сказал Додик, без сил оседая на дорожный антикварный стул.

— Телефо-он! Трубку возьмите! Телефо-он! О, Хосспади, Хосспади, Хосспади!.. — вопила из кухни Сонечка.

Додик принял трубку из моих рук и тяжело выдохнул:

— Да, сынок! Здравствуй! Все хорошо.... спасибо, родной... Да, конечно, я понимаю... береги себя... спасибо еще раз, спасибо...

Додик вернул мне трубку. Промокнув платком наворачнувшиеся слезы и вспотевший лоб, он с трудом поднялся и, сделав последние шаги, застыл. Сонечка, придвинув к своей необъятной груди общую салатницу, с аппетитом уничтожала ее содержимое, заедая большим куском, отломанным от именинного пирога.

— Тебя пока дождешься — с голоду сдохнуть можно, — сказала она с набитым ртом. — Лидка вон наготовила всего... Садись. Шо там Костик? Он купил мне прополис? Мне это нужно по диабету.

Додик стоял на пороге кухни и молча смотрел на свой истерзанный именинный пирог. Потом он повернулся и так же медленно, держась за правый бок и опираясь на мою руку, вернулся в свою комнату.

Вернулась тетя Лида, долго шумела на Сонечку, гремела посудой и клялась, что ноги ее в этом доме больше не будет. Потом она принесла Додику аккуратно обрезанные и красиво уложенные на тарелке кусочки пирога. Додик посмотрел на меня и спросил:

— Будешь?

— Конечно, — ответила я.

В этот вечер мы молча сидели с Додиком на его кровати. Между нами стояла тарелка с обломками его дня рождения. Мы по очереди брали кусочки руками. Додик ел свой именин-

ный пирог, запивая горькими слезами, которые медленно, одна за другой, катились по его чисто выбритым щекам.

Тяжелые волны гонят к моим ногам черную пену, которая обжигает нестерпимым жаром. Я карабкаюсь вверх по крутому склону, но волны настигают меня. Черная пена превращается в тлеющие угли. Они заполняют все, что только можно видеть вокруг. Назад для меня дороги уже нет, но и в гору мне самой не подняться. Силы мои на исходе. Обреченно, в последний раз я бросаю взгляд на крутую каменистую тропинку, которая вьется серпантинном по склону горы. И вот я вижу, как по этой тропинке ко мне спускается мужчина. Его босые мощные ступни уверенно идут по земле. Лица его я не вижу, но понимаю, что для меня это сейчас неважно. Важно, что это шанс выжить и послан он именно мне.

Мужчина протягивает свою огромную сильную руку, на которой я отчетливо вижу массивное серебряное кольцо с разинутой пастью льва. Львиный оскал не пугает меня. Это защита, и теперь не нужно чего-то бояться. Все страшное уже позади. Я вверяю свою руку неизвестному покровителю, и мы уверенно поднимаемся в гору. Огненные волны остались далеко внизу. Их жар уже не причинит мне боли.

Тропинка под нашими ногами становится мягче. Теперь она не каменистая, а песчаная и рыхлая. Я смотрю на ступни моего спутника и вижу, как с каждым его шагом тропинка осыпается и становится все уже и уже. Еще несколько шагов — и по ней

будет невозможно идти. Мы останавливаемся и смотрим вниз. Пропась, у которой нет дна. А тропинка уже осыпается и под нашими неподвижными ногами.

Но вот старческая рука с волосатыми пальцами и пожелтевшими ногтями ложится на мое плечо.

— Вера! Вера, остановись! — Старик настойчиво треплет меня за плечо.

— Вера! Вера, проснись! — Додик настойчиво трясет меня за плечо. — Вера, надо вставать.

— Что такое? Вам плохо? — ничего толком не понимая спросонья, спрашиваю я. — Или с Сонечкой что-то?

— Нет. С нами все нормально, — ответил Додик, поправляя на голове лыжную шапочку. — Тебе срочно домой ехать надо. Лида звонила.

— Куда ж я поеду? — растерянно спрашиваю я. — Ведь ночь на дворе.

— Первый трамвай пойдет через пятнадцать минут. Собирайся. — И с неподдельной горечью в голосе добавил: — У тебя беда в доме.

Я одеваюсь молча. Прямо при Додике натягиваю джинсы и свитер.

— Ключи от квартиры не забудь и паспорт, — подсказывает мне Додик. — На вот, денег возьми, — протягивает он мне свой кошелек.

— Зачем? — спрашиваю я.

— Бери, говорю, — настаивает Додик, — и... и возвращайся потом сюда.

Руслан и Китаец задохнулись от дыма. Чья именно сигарета первой прожгла матрас, теперь уже не узнать. Их сгубила одна

беда, смерть они приняли вместе на одном диване и последний приют обрели бок о бок на одном кладбище.

Три дня прошли как в тумане. Тетя Лида водила меня по каким-то кабинетам. Я что-то подписывала. Затем я получила какие-то бумаги, и мы вошли в огромный зал, заполненный гробами и искусственными цветами. Я опять что-то подписываю, отдаю деньги. Откуда они у меня? Не знаю. Меня укладывают в постель. Сплю я или нет, понять не могу. Все происходящее — один сплошной ужасный сон.

И вот две свежие могилы приняли своих постояльцев. Кто-то обнимает меня, сопливо плачет на моем плече, кто-то обещает быть рядом. Наконец все затихает и отходят от меня на несколько шагов. Я остаюсь одна на краю могилы. Свежевыкопанная песчаная земля осыпается под моими ногами. Я бросаю ком земли на гроб моего брата и отступаю от могильной пропасти. На ватных ногах я стараюсь отойти в сторону, но кладбищенская земля забирает у меня последние силы.

Женя, этот взрослый чужой мужчина, не дает мне упасть. На его большой сильной руке я вижу знакомое кольцо. Рычащий лев приветствует меня и закрывает собой от бед. Я невольно посмотрела на ноги Жени. Неужели он босиком? Ну, нет же. Добротные, начищенные до блеска ботинки уверенно выводят меня на асфальт. Он усаживает меня на заднее сиденье машины, как ребенка заботливо пристегивает ремнем, ставит мою сумочку мне на колени и захлопывает дверь.

Рядом со мной садится мама Жени. Тетя Лида спокойна и деловита.

— Ничего, девочка, — утешает меня она. — Жизнь на этом не заканчивается. Кто знает, до какой беды мог дойти твой Руслан, если б его Бог не прибрал? Там, — указала она глазами на небо, — виднее, кого и когда призвать. Пусть отдыхает с миром. Царствие ему небесное.

Знакомой дорогой мы подъезжаем к нашему дому. И тут меня охватывает ужас. Я хватаю тетю Лиду за руку и умоляю:

— Я не пойду домой! Не могу, понимаете...

— Ну что ты, дурочка! — успокаивает меня она. — Мы к нам поднимемся, помянем новопреставленных. Ну, полагается так. Я приготовила все... посидим, а потом тебя Женька к старикам отвезет. Поживешь там, пока мы тут с ремонтом управимся, успокоишься, да и денег подзаработаешь. А дальше сынок мой о тебе позаботится.

— Ой, тетя Лид! Я вообще не знаю, как мне дальше жить, что делать...

— Зато я знаю, — слышу я в ответ и безвольно иду за ней следом.

Я возвращаюсь к Додик и Сонечке. Тягостное, липкое молчание повисло в их доме. Но все же это лучше, чем закопченные стены моей квартиры, пропитанные дымом и смертью. Сонечке я служу, а с Додиком мы дружим.

Вечером, когда заканчиваются дневные хлопоты и Сонечка засыпает, Додик стучится в мою комнату. Он садится на обшарпанный венский стул, ставит на краешек стола пластиковый стаканчик со своими камнями. Стаканчик оказался не очень надежным убежищем для камней. Он быстро потрескался и мог лопнуть в любой момент.

— Их надо переложить в какую-нибудь красивую коробочку, — предложила я. — Я похожу по магазинам и поищу подходящую.

Додик согласно кивает головой и терпеливо ждет, пока я приготовлю чай. Пьем мы его в моей комнате, за тем самым столом, за которым много лет назад маленький Костик ел свою первую кашу, делал уроки, переписывал у однокурсников конспекты.

Иногда Додик приносит с собой альбом со старыми фотографиями и мы рассматриваем их. Я сижу тихо, а он молча разговаривает с каждым, кого сохранила фотобумага. Иногда он улыбается, иногда хмурится, иногда плачет.

Вечерний чай окончен. Я помогаю Додику вернуться в его комнату. Мы желаем друг другу спокойной ночи, и до утра каждый из нас остается наедине со своим прошлым.

Беда всегда приходит неожиданно. И для этого дома она не стала делать исключения. Додик поднял страшный переполох с самого утра.

— Вера, где мои камни? Куда ты их поставила?

— Да у вас они, — недоуменно отвечаю я. — Вы же их из рук не выпускаете.

— Я был в туалете, а потом, когда вернулся, они исчезли, — сокрушенно отвечает Додик.

— Не расстраивайтесь вы так, — стараюсь я утешить старика. — Из дома ведь никто не выходил, значит, и камни ваши здесь. Вы просто забыли, куда поставили стаканчик.

Но Додик был безутешен. С неизвестно откуда взявшимися силами он перевернул вверх дном всю квартиру. В результате поисков был найден лишь пустой пласти-

новый стаканчик, а камни исчезли бесследно. Единственным необследованным местом оставался лишь плюшевый трон Сонечки. Додик, пересилив свою обиду, все же решил нарушить более чем трехнедельное молчание и подошел к жене:

— Соня, пересядь, пожалуйста, на диван.

Сонечка отвела взгляд от телевизора и недоуменно спросила:

— Это еще зачем?!

— Я хочу посмотреть, может быть, мои камни здесь, у тебя, — ответил Додик.

— Ты совсем спятил на старости лет, — взвизгнула Сонечка. — Ты хочешь искать эту мерзость в моем кресле?!

К моему удивлению, Додик не только не притих после окрика жены. Наоборот, он медленно, но решительно стал надвигаться на нее:

— Значит то, что было внутри меня, — это мерзость?!

— Да, да! Именно так! — выплонула ему в лицо Сонечка.

— Ты пятьдесят лет живешь с мерзостью, ешь со мной из одной тарелки, живешь со мной в одной квартире! Значит, ты тоже мерзость! Такая же, как и я, — вернул ей плевков Додик и сел на банкетку из красного дерева, обитую старинным гобеленом.

— Встань немедленно! — приказала ему Сонечка. — Это восемнадцатый век!

— Ага, шас! — оскалился в ответ Додик. — Восемнадцатый век, говоришь? Я вот сейчас возьму и выкину эту рухлядь с балкона.

Сонечка постепенно покрывалась красными пятнами и не находила в ответ слов.

— Чего глазами хлопаешь? — усмехнулся Додик. — Думаешь, я голос не посмею на тебя повысить?

Вопрос остался без ответа. Додик смолк. Обида и злость съели его последние силы. Ошарашенно молчала Сонечка, перебирая трясущимися руками подол своего халата. Молчала и я, совершенно не зная, как себя вести в данный момент.

— Я всю жизнь прожил для тебя. От всего старался тебя оградить, все для тебя достать. Я ведь всю жизнь все делал за тебя! Я уж не жду любви, но хоть какую-то благодарность под конец жизни я заслужил? Просто человеческое сочувствие? Разве ж нет? — обреченно, уже вполголоса спросил Додик.

— Да, ты все делал за меня. И жизнь мою за меня прожил, — ответила наконец Сонечка. — Ведь это ты усадил меня сюда, — сказала она, указывая на свой плюшевый трон. — И именно ты решил, что должен терпеть от меня безразличие, унижение. Я ведь тебя об этом никогда не просила. Посмотри, во что ты превратил меня своей любовью... И я должна быть тебе за это благодарна? Каждый день своим присутствием ты напоминал мне о моей ошибке. Всю жизнь как кость в горле. Я ж тебя ни проглотить, ни выплюнуть не могу. Представить себе не можешь, как ты мне надоел...

— А Костик? Он же твой сын?

— Ах, Давид... Костик слишком похож на тебя... — ответила Сонечка. — И потом, ты же и от материнства меня оградишь, — уже раздраженно добавила она. — Лиду в няньки нанял! Можно подумать, я бы сама со своим ребенком не управилась! Да что говорить! Уйди с глаз моих долой!

Додик покорно поднялся и ушел в свою комнату. Безмолвие вязкой жидкой кашей вновь растеклось по квартире.

ре. В этот день ни Додик, ни Сонечка не вспомнили ни о завтраке, ни об обеде. После утреннего скандала постучать в комнату Додика я почему-то не решилась, и Сонечка на своем пьедестале была неприступна. Ближе к вечеру наконец-то, объявился Додик.

— Вера! — радостно вопил он. — Вера, ты представляешь, они нашлись! Сонечка, как всегда, была права — я просто старый дурак! Вот, — предъявил мне Додик шикарную палехскую шкатулку, на дне которой красовались его сокровища. — Ты когда сказала про коробочку, я их и переложил сюда. А потом забыл, понимаешь? Просто забыл!

Додик поспешил обрадовать жену. Еще шаркая тапочками по коридору, он возвещал:

— Сонечка, детка! Прости меня, идиота! Сонечка!.. Со-оня! — Голос Додика оборвался, и я поняла, что что-то произошло.

Сонечка, как обычно, восседала в своем кресле. Красные пятна, появившиеся утром на ее лице, исчезли. Лицо стало серым и безжизненным. Глаза с огромными зрачками неподвижно смотрели на телеведущего, который долгие годы обещал ей исцеление от всех болезней и бесконечную жизнь. Додик, как собака, клубком свернулся у ее ног и то ли тихо плакал, то ли скулил. Я метнулась к телефону и, пока вызывала врачей, дозванивалась до Костика и тети Лиды, Додик затих, принес в палехской шкатулке к ногам своей возлюбленной всю свою преданность и боль. Затих. Теперь уже навсегда.

С вещами я спускаюсь к машине, в которой ждет меня Женя. Во дворе рабочие в оранжевых жилетках выкорчевывают из песочницы прогнивший деревянный грибок, ломают облезлые качели. Они тоже отслужили свое. Я сажусь в машину и впер-

вые смотрю прямо в глаза этому чужому, совершенно незнакомому мне человеку, который готов вести меня по жизни, оберегая от забот и трудностей.

— Евгений, — не без труда начинаю я разговор. — Я очень благодарна вам и вашей маме за поддержку, но... на одной благодарности семью не построить ...

— Как же ты будешь дальше?

— Не знаю, — честно отвечаю я. — Правда не знаю, но самые важные решения я должна принимать сама и жизнь свою прожить я должна тоже сама.

— Ну что ж... сама так сама, — отвечает он и поворачивает ключ в замке зажигания.

Перед выездом из двора нам приходится притормозить, пропуская два грузовика, доверху заполненных свежеекрашенными скамейками и ярко разрисованными качелями. Двор готовится к новым встречам, из которых, возможно, вновь родится любовь.

Петропавловск-Камчатский — Франкфурт-на-Майне





София АГАЧЕР



Продолжение. Начало в № 6, 7 за 2018 год

ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРИ СЕБЯ

— Знаете, наверное, это несколько странно прозвучит, но я никак не могу отделаться от ощущения, что попала в старую посадскую Москву. И дело здесь не только в Красной площади, а в самом духе, что ли, — сбивчиво и не очень уверенно начала отвечать я.

— Да вы не стесняйтесь своих ощущений, учитесь доверять себе и верить традиции, — спокойно и привычно, как встревоженному ребенку, стал объяснять мне Игнатий Лукич. — Наш маленький городок Ветка — это действительно ветка той старой патриархальной Москвы, существовавшей еще до великого раскола. Реформа патриарха Никона не только заставила Московскую Русь читать церковные книги по греческому образцу и креститься тремя перстами, но и расколола народ, культуру, государственность и духовность земли русской. Одни приняли чуждую культуру правящей элиты, стремящейся в Европу, другие ушли в глухие места, тайные монастыри, скиты и молельные

дома, сохранив традицию старой духовной культуры и государственности. В 1685 году двенадцать богатейших староверческих родов Московской Руси основали на острове Ветка, что на реке Сож, на землях Мозырского воеводства Речи Посполитой, город, ставший центром всего русского старообрядчества. По преданию, беглецы плыли по реке и пустили на воду ветку со старинной иконой, где она пристала к берегу, там град основали.

— Как интересно, — воскликнула я, не совсем вежливо перебив рассказчика. — Я читала, что викинги, плавающие на своих драккарах, в том числе и по Днепру, прежде чем пристать к берегу и основать поселение, пускали по реке ветку с деревянной куклой богини, и там, где она прибывала к берегу, основывали свое городище.

— Все верно, у староверов, особенно у потомков казачьего воинства, до сих пор сохранилось множество языческих обычаев. Так вот, разрешите продолжить свой рассказ. В Ветке построили

ли Покровский монастырь для 1200 иноков и насельников. При обители были основаны мастерские: по переписыванию книг, иконописные, по изготовлению окладов из кованого металла, резного дерева и речного жемчуга. Да-да, в Соже, вплоть до двадцатого века, добывали речной жемчуг. Люди здесь жили общиной без помещиков и чиновников, работающие, мастеровые и торговые. Корабли строили на своей верфи и ходили на берлинах с товаром до Босфора. Снабжали все поселения раскольнического толка: от дунайских гирл до кубанских плавней и тверских предгорий; от белорусских и прибалтийских лесов до Поморья, Яика и сибирских дебрей — книгами, иконами, окладами, поддерживали деньгами и обучали детей богослужению по староверческому чину. Можете себе представить, что в тридцатых годах восемнадцатого века в Ветке вместе с посадами проживало около сорока тысяч человек, что, для сравнения, было равно почти трети населения Москвы. Смуту сеяла Ветка, сюда бежали казаки,

большинство из которых придерживались старой веры, крестьяне-староверы, купцы, уставшие от поборов царских наместников. Два раза казаки по приказу московского царя сжигали и грабили город. Во втором нашествии, так называемой царской выгонке, принимал участие и Емельян Иванович Пугачев — тогда-то, по преданию, он и познакомился с раскольниками из Ветки.

— А какое отношение к староверам и к Ветке имеет Пугачев? Ведь восстание началось среди казачества Яика, на Урале? — несколько раздраженно спросила я старика.

— Видите ли, в учебниках как имперской, так и советской истории об этом было не принято писать. Ведь из-за преследований властей большинство раскольничьих скитов и молельных домов жило тайно. Фактически у людей старой веры тогда функционировала обширная подпольная сеть, раскинувшаяся по всей России веткой, и нити ее сходились уже в городе под названием Ветка. Будучи удачливыми купцами и ремесленниками, в том числе и благодаря своей сплоченности, староверы из Ветки активно снабжали деньгами общины единоверцев и по ту сторону границы Российской империи.

Какие ходили толки в те времена среди раскольников? Вероятно, о гонениях «истинной христианской веры» в «антихристовом государстве», где на московском престоле правит немка, величая себя императрицей на манер гонителей христиан — римских тиранов; о том, что за поддержку своего трона она расплачивается со служивым дворянством землями и крестьянами, которые при этом полностью теряют свою свободу. Остальной же народ не дворянского чина облагается

грабительской подушной податью и рекрутчиной. Уважаемых людей унижали, били и оскорбляли прилюдно, заставляли их брить бороды, носить иноземные парики и платье.

Возможно, староверы поговаривали также о том, что на Яике может начаться великая смута и что казачество повсеместно недовольно притеснениями царицы, фактической отменой их вольницы и значительным ущемлением власти общевойскового круга. Вот тут-то приезд летом 1772 года в Стародубский монастырь, что располагался недалеко от Ветки, сильного, не раз сидящего в остроге воевавшего казака, подданного Речи Посполитой Емельяна Пугачева и мог показаться ветковским старцам перстом Божиим. И замыслили они тогда восстановить справедливость — посадить на царство силами казачества своего царя-единоверца, как это было уже на Земском соборе в 1613 году, когда казаки князя Трубецкого возвели на московский престол также подданного польского короля, юного Михаила Романова, которого при жизни европейские дипломаты в своей переписке именовали не иначе как казачий царь. Вот для этого и было решено прибегнуть ко лжи великой — выдать Емельку Пугачева за царя Петра III, Божиим промыслом якобы спасшегося от душегубов, подосланных «подлой жёнкой» его, нынешней императрицей Катериной... И снабдить Емельяна Ивановича документами, деньгами, и отправить его к отцу Филарету, игумену в Мечетной слободе на реке Ирғиз, послав слух верный по всем скитам и монастырям старой веры, что под именем Емельяна Пугачева на Русь вернулся законный царь Петр III и всем единоверцам надобно служить

ему верой и правдой. Семейные предания моих земляков повествуют о том, что под древними иконами Стародубского монастыря один из самых уважаемых людей в мире истинной веры, старец Василий, венчал донского казака Емельяна Ивановича Пугачева на царство Российское под именем Петра Федоровича. Здесь же, в Ветке, старцы передали Пугачеву одно из четырех знамен голштинской гвардии Петра III, которым по прибытии на Яик «спасенный царь Петр Федорович» смог убедить казаков в своем чудесном воскрешении. Конечно, мы не знаем, как доподлинно складывался и осуществлялся этот план. Так что на Добрянский форпост на российско-польской границе 12 августа 1772 года, скорее всего, Емельян Пугачев прибыл из Ветки уже будучи посвященным в план будущей войны казачества за восстановление старой веры и вольницы с уже вполне твердым намерением выдать себя за царя Петра III. Он записался уроженцем Речи Посполитой Емельяном — сыном Ивана Пугачева. Около шести недель он пробыл в карантине, после чего комендант Мельников выдал ему паспорт.

Прибыв на охваченный волнениями Яик, Емельян Пугачев возглавил казачью войну в России за веру, царя и Отечество. Последней такой войной, как, я надеюсь, вы помните, была Гражданская война, начавшаяся в прошлом веке после Октябрьского переворота и закончившаяся фактическим геноцидом казачества. Большевики не были столь великодушны, как Екатерина, которая, казнив несколько тысяч наиболее активных участников военных действий и урезав казачьи вольности до минимума, не тронула их семьи и таборы, а позволила им служить

России дальше. Так что шествовал «Петр III» по Руси, благословляя народ «старым крестом и боро-дою», а начал он этот путь вблизи Красной площади города Ветки, закончив его рядом с Красной площадью Москвы, на Болоте. Могилы его нет, и почитают его многие староверы до сих пор за пророка, принявшего мучениче-скую смерть за веру истинную.

— Как интересно, а глав-ное — многое становится понят-ным, — сказала я, пораженная услышанным.

— Что, например? — оживился Игнатий Лукич.

— Для меня всегда было загадкой, как смог организовать такое грандиозное восстание неграмотный, беглый казак, пусть даже обладавший недюжинными способностями вождя. Почему ему поверили люди? Кто снабжал его деньгами, оружием, информацией, советами? Почему бунт вспых-нул и побежал пламенем, как по ветке? А оказывается, эта ветка существовала не только в моем воображении — это была реаль-ная разветвленная сеть старовер-ческих поселений, где десятилетиями оттачивалось противостояние властям и искусство конспирации, где были деньги на оружие и со-биралась информация о врагах, — озвучила я пришедшие мне в го-лову мысли. — Выходит, основной движущей силой Пугачевской войны были казаки, а ее орга-низаторами и вдохновителями — все-таки старообрядцы!

— Вы знаете, в центре старо-верческой традиции всегда стояли символы и обереги, посланные людям с неба для устройства пра-вильной жизни. Например, Ветка, город, ставший столицей мира старой веры, должен был быть устроен в виде ветки и прорости, как она. Старцы, строго следуя символам, творили историю,

события и судьбы. Емельян Иванович Пугачев венчался на царство в староверческой столице вблизи Красной площади, напо-добие царей московских, совер-шавших такой же обряд в Мо-скве вблизи Красной площади. Да, и венчать на царство можно было только человека с царской, «голубой, драконьей кровью». Ведь только «дракон может жить в пламени царствования», — увлеченно рассказывал Игнатий Лукич.

— Вы хотите сказать, что Пугачев был потомком благород-ного рода? — совсем растерялась я, воспитанная на идее бедняц-кого происхождения народного бунтаря.

— Несомненно, иначе старец Василий не смог бы провести обряд венчания на царство! Поэтому-то староверы и при-няли Емельян Ивановича как царя! А вот чья это была кровь? Ведь казаки — отдельный эт-нос, они дети великой и воль-ной, разбойничьей степи, в том числе и потомки хазар, не особо жаловавшие попов. При Романо-вых началось активное ославяни-вание казаков и насильственное их приобщение к русской орто-доксальной церкви. «Сарынь на кичку!» был боевой клич казаков Пугачева, что означает, извини-те, «срань на нос». Так кричали поволжские казаки-разбойни-ки, ушкуйники, грабившие суда, призывая бурлаков, которых они не убивали, бежать к носу судна. Сейчас мы не в состоянии это понять и принять, поскольку символы и знаки ушли из жизни, сохранившись лишь на старинных иконах, книгах и рушниках. Увы, не осталось в живых тех, кто знал язык этой традиции, мог видеть будущее и с помощью древних знаний ткать рушник реальных событий.

Ну все, заболтался я с вами, ребятишки мои собрались, пора начинать урок. Да, и Анна Гри-горьевна уже идет, до свидания, приятно было с вами побеседо-вать, — попрощался со мной Иг-натий Лукич, повернулся и легко, по-мальчишески зашагал вглубь музея.

КАРТИНКА 4. ВОЖДЕНИЕ СТРЕЛЫ. МАШРУТ: ВЕТКОВСКИЙ МУЗЕЙ — АННА ГРИГО- РЬЕВНА — БЕЗМЕНЫ — СТАРОДУБСКИЙ КАЗАЧИЙ ПОЛК — МАРФА ЕВГРАФЬЕВНА — КАЗАЦКИЕ БОЛСУНЫ — ВОЖДЕНИЕ СТРЕЛЫ

Ко мне навстречу спешила вы-сокая, статная женщина с горя-щими глазами и пышной короной каштановых волос, как будто подернутых всполохами огня.

— Доброе утро, меня зовут Анна Григорьевна, и я с удоволь-ствием проведу для вас экс-курсию, — привычно начала она. — Наш музей устроен как любой дом: он имеет фунда-мент, светлицу и крышу; или как человек, у которого есть тело, душа и разум; или как земля с ее природой и рекой-дорогой, про-низывающей и объединяющей пространство и время. По берегам этой воображаемой реки вы ви-дите окна-экспозиции: пристань, верфь, торговый ряд, старый город, кузню.

— Какие огромные булавы! Древнее оружие? — спросила я, зацепившись взглядом за висящие на стене полуметровые кованые толстые цилиндры, с утолщения-ми на одном конце и крючьями на другом.

— Формально нет, — с лукавым прищуром заулыбалась Анна Гри-горьевна, — на территории Речи Посполитой иноземным купцам

было запрещено иметь оружие, но места здесь были лесные и глухие, да и граница рядом, поэтому лихие людишки пошаливали частенько. Вот купцы и возили с собой безмены, приспособления для взвешивания и отпуска товаров, хотя, в случае необходимости, их могли использовать для защиты как оружие. Так что это выставка старинных безменов.

Вернув себе этим вопросом способность к мышлению, я обратила внимание на странный рисунок, вероятно, из старинной книги, помещенный за толстым стеклом витрины.

— Что это? Я никогда не встречала такого изображения и даже затрудняюсь задать правильный вопрос! — воскликнула я.

— Не смущайтесь, это действительно уникальный экспонат, — явно обрадовалась моему интересу экскурсовод. — Вы видите копию страницы из очень древней староверческой книги, где изображен Сын Божий без бороды, с крыльями за спиной и звездой Бога Саваофа на голове, ведь имя Божие Саваоф приложимо ко всем лицам Святой Троицы. На этой старинной иконе Иисуса Христос представлен прежде всего как всемогущий владыка всех сил неба, земли, воинства небесного, звезд и других космических явлений. Посмотрите дальше, — провела рукой Анна Григорьевна вдоль музейной витрины, — видите, сколько здесь икон небесных покровителей воинов, написанных огненной киноварью. Ведь защита веры и родной земли является жизненной и духовной основой людей старой веры. Архангел Михаил веками сходил с маленьких дедовских икон, вселяя в поколения мальчиков дух и веру, так необходимые в бою ради жизни на земле. Скольких воинов он вынес с поля битвы

на своем коне с золотыми подковами, скольких закрыл своим щитом и скольких врагов наказал своим копьем! Ведь основное число порубежных казаков придерживалось старой веры, поэтому перемена веры, отказ от традиций предков означали для них неминуемую смерть на поле боя. Я сама родом из старинной казацкой староверческой семьи, дед моего деда привез себе жену из турецкого похода. Говорят, у меня от нее такие карие глаза. И была она второй женой при живой первой. Так что был мой предок многоженцем, как и многие другие казаки до него. Старая вера позволяла иметь несколько жен. И не всегда молодые венчались в церкви. Выведет казак на сход девку и назовет ее своей женой. Этого было достаточно, чтобы прожить жизнь вдвоем в любви и согласии.

— Извините, Анна Григорьевна, но откуда здесь, в Ветке, казаки? — уже абсолютно потеряв нить повествования, спросила я.

— Разве Игнатий Лукич не рассказал вам свою любимую историю о Стародубском казачьем полке, стоявшем на границе с Речью Посполитой? Казацкие таборы-деревни, состоящие из отдельных хуторов, до сих пор есть на Ветковщине. Там сохранились не только старинные рушники, книги, иконы, но и обычаи. Наша музейная смотрительница, Марфа Евграфьевна, родом из такой казацкой деревни, она вам лучше расскажет об обычаях, а то и песенки споет.

Марфа Евграфьевна, подойдите к нам, пожалуйста, расскажите нашей гостье о своей родной деревне и обычае «Вожделение стрелы», — обратилась Анна Григорьевна к высокой сухопарой пожилой женщине, одетой в длинную темную юбку и белую вышитую красными ромбами рубаху.

— Здравствуйте! —

Шаг у Марфы Евграфьевны оказался упругий, скорый, совсем как у молодой. — Отчего же не поговорить с хорошими людьми. Родом я из Казацких Болсунов, деревня наша когда-то большая была, да и сейчас не бедствует. Землю возделываем, детей воспитываем, скот растим и рушники ткем на кроснах изо льна: из белой нитки и красной. Шестеро сыновей у меня, все воевали и живые вернулись домой. Нынче, овдовев, живу у младшенького, внучков помогаю поднять, а здесь работаю как живой экспонат, Анна Григорьевна уговорила. Приезжайте к нам на Вознесение, поучаствуете в старинном обряде «Вожделение стрелы». Сами все увидите, своими глазами, да от железа сбережетесь.

— Как это — от железа? Что мне плохого железо может сделать? — удивилась я.

— Нет у тебя сыновей, гостя, нет. Не знало твое сердцем боли за детей, когда они под железом смертоносным на поле боя погибают. Я казачка потомственная. Когда мальчик-казак рождался, то дед его, лет с четырех, обучал воинской науке: как по лесу ходить незамеченным; как выжить без еды и воды в холоде. Жеребенка новорожденного пацану раньше давали, так они и росли с детства вдвоем, не разлей вода. Хлеб один делили, спали и дышали вместе. Боевой конь и хозяин — это одно существо. Когда же девочка рождалась, то ее бабушка учила науке, как быть женой воина-казака. Какие травы целебные собирать, чтобы мужнины раны от шашки лечить. Какие рушники ткать суженому в дорогу, чтобы от лихих людей, обмана, зависти сберегли и путь обратно домой открыли. Учили, как стрелу летящую, смертоносную от любимого в бою

отвести. Вот поэтому обряд и называется «Вожделение стрелы».

На сороковой день после Пасхи все женщины нашей деревни наряжаются в свои праздничные, специально вышитые для этого обряда одежды с красными поясами и берут с собой что-нибудь железное. Если сын в армии или муж, то находят железо, что тот в руках держал. Идут женщины по деревенской улице, взявшись за руки, и песни поют о летящий стреле, что убила сына, — и очень горько и безудержно плачут. И выманивают они горем своим и плачем небесную борону или молнию-стрелу в небо, а потом выводят ее за деревню в поле. За околицей начинают хороводы водить, в центр кругов сажают детей, поют и рыдают до тех пор, пока в ритм небесный не войдут, пока небесные покровители им не ответят, молния не блеснет и дождь не заплачет. После первых сполохов и капель, больших и тяжелых, начинают женщины смеяться и ребячню вверх подбрасывать, чтобы росли они сильными и здоровыми, а стрелы проходили мимо их сердец. Потом молодые мужчины и женщины обнимаются и катаются по полю, чтобы детки крепкие и счастливые рождались. И только после этого женщины, принесшие железо,

закапывают его в землю, затем собирают семь колосков и несут их домой, где прячут за икону или за стреху крыши. Такой дом и живущую в нем семью беда, огонь, молния, болезнь, любое испытание огненное — тюрьма или плен — весь год обходить будут, — привычно закончила рассказ Марфа Евграфьевна и посмотрела на меня.

— Знаете, — обратилась ко мне Анна Григорьевна, видя мое ошеломленное выражение лица, — когда я в первый раз приехала на этот обряд, прежде много раз слушая рассказы очевидцев, то серьезно настроилась и приготовилась ничему не удивляться. Но когда женщины начали плакать и петь, такое чувство безысходного горя охватило меня, что слезы сами полились ручьем. Когда же на небе сверкнула молния и упали первые капли дождя, липкий страх и ощущение соприкосновения с великой силой так скрутили мое тело, что я упала и долго лежала, прижимаясь к матушке-земле. Так что приезжайте, если хотите реально побывать в мире своих предков. Итак, экспозиция первого этажа закончилась, пойдем в светелку к Марфе Евграфьевне, посмотрим на рушники.

Понравились вы ей, очень редко она рассказывает об обычае «Вожделение стрелы» с такой глубокой интерпретацией, все больше говорит экскурсантам об урожае и здоровье. Кажется, она вас за свою признала, странно, может, и продолжит учить традициям. Знаете, ни одна экскурсия у меня еще здесь не проходила по намеченному плану, обязательно какой-нибудь экспонат, как говорят, цепляет экскурсанта и увлекает его в глубину родовой памяти, к осознанию самой сути жизненного пути. Идет такой человек по музею подобно археологу-собирателю, не копает землю, а просто смотрит, и вдруг река памяти из подземных вод подсознания выносит какой-нибудь артефакт, и происходит удивительное узнавание, что преобразует этого человека и всю его последующую жизнь. Жаль, что время техники при археологических исследованиях почти уничтожило правдивость и чистоту находок, интуиция ученого больше не притягивает артефакты, но музей — это особое мистическое пространство, и здесь экспонат улавливает частоту экскурсанта и цепляет его, иногда на час, но чаще на долгие годы.

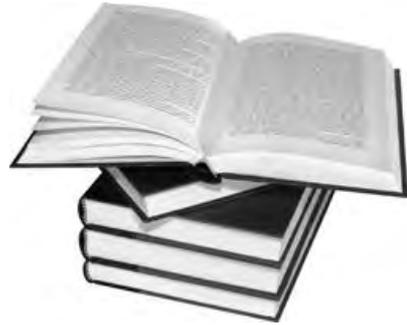
Продолжение следует.

США





Владимир КЛЮЧНИКОВ



Продолжение. Начало в № 2, 3, 4, 5, 6, 7 за 2018 год

ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ТОГО СВЕТА

ГЛАВА 7. ТЕАТР АБСУРДА

— Брать будем живьем. Прямо дома, пока тепленький, — обратился Элдфорт к служебному водителю, потирая ладони. — Никуда он от нас не денется.

— Вон та пятиэтажка, — указал рукой Вольдемар.

— Понятно, ща припарконемся в лучшем виде, — сказал усатый водитель, не вынимая изо рта сигарету.

— Брать будем тихо, без шума и пыли, — приказал Элдфорт.

Все беспрекословно согласились. Машина незаметно остановилась на углу дома.

— Шобы не спухнуть, — пояснил водитель. — Роберт, мотор тахда глушить не буду? А то вдрух погоня, бандитские пули... Она заглохнет, хер заведешь. Встанем, как лохи, тахда.

— Можешь не глушить, — согласился Элдфорт. — Ерем, ты тогда здесь один останешься.

— Та не вопрос! — Водитель щелчком выбросил в снег дымящийся бычок и закурил новую сигарету.

— Будь начеку, а мы тогда втроем сами с ним справимся.

Из машины вышли три человека: Роберт Элдфорт, Вольдемар Бархоткин, Виктор Тютин. Последний был не кто иной, как сотрудник отряда ОМОН. Он проспорил Элдфарту ящик коньяка и, чтобы не отдавать долг, вызвался поехать на задержание в свой выходной день с целью обеспечить надежное прикрытие. В руках омоновец Тютин сжимал автомат Калашникова.

— Вольдемар, ты тогда карауль под окнами. Кто знает, преступник народ такой, может и в окно сигануть. А мы с Витьком подыдемся наверх и попробуем его культурно арестовать.

— Задача ясна? — по-командирски спросил Тютин.

— Заметано, — сказал Вольдемар и пошел дежурить под окнами. — Смотри, Витек, сам не подкачай.

— Лично я марку держу. Это ты там смотри в оба, не щелкай!

Вольдемар, прыгая как зайчик вокруг новогодней елочки и размахивая руками, пытался согреться. Как знать, сколько бы он так стоял и дрыгал своими конечностями, возможно, еще часа три. Но с балкона его окликнул голос:

— Нету его в квартире! Садись в машину!

* * *

— Говорил, на работе надо брать, — угрюмо бурчал Витек, сидя на заднем сиденье полицейского уазика.

— На работе сложнее, там, поди, у него клиентов сидит полный коридор. Неизвестно, чего этот маг учудит. А дома все-таки более надежно, живет он, скорее всего, один, отсюда и безопаснее произвести задержание.

Полицейский уазик рассекал по вечерним дорогам и вписывался в повороты на полном ходу. Другие водители устало ехали со своих работ домой, медленно толкаясь в пробках... Но водитель Ерема умело обходил всевозможные заторы, включил на крыше мигалку, вдавил педаль газа в пол и, захватив руль на сто восемьдесят градусов то вправо, то влево, бороздил по волнам русских дорог. Пьяный Ерема, словно одноглазый пират с попугаем на плече, вез своих пассажиров на встречу к злому волшебнику, стоя за штурвалом легендарного судна «Черная каракатица».

Уазик остановился у забора, из него вышло три человека. Они позвонили, дверь им открыл здоровенный бугай.

— Вы к кому? — грубо спросил он.

* * *

— К Лгунову мы, — ответил Элдфорт. — К Аристарху Владленовичу.

— А вы записаны? Как вас представить?

— Не надо, мы сами ему представимся! — Роберт ткнул в лицо бугаю удостоверением и прошел далее.

Вслед за Элдфортом прошмыгнул Вольдемар. Бугай не осмелился спорить, так как следующим вошел Витек, держа автомат наперевес. Бугай лишь с дрожью в глазах взглянул на чудо советской техники, закрыл дверь и робко побрел вслед за пришедшими.

Войдя в коридор, где столпилась толпа возмущенных людей, Роберт, Витек и Вольдемар протиснулись к ресепшену.

— Где наш маг и чародей Лгунов? — саркастически спросил Элдфорт у секретарши.

— Вы к Аристарху Владленовичу?

— К нему.

— Видите, сколько людей ждет? Аристарх Владленович еще не начал прием.

— И когда же начнет?

— А вы, кстати, кто? По записи? Я вас не припомню.

— Совершенно верно, мы по записи. У нас годовой абонемент. — Элдфорт показал удостоверение сотрудника полиции.

— Я вам еще раз говорю, Аристарх Владленович еще не начал прием!

— А где он есть сам?

— У себя в кабинете. Подождите! Куда вы пошли?! Туда нельзя!

— Здесь закрыто, — дернув за ручку, сказал Элдфорт.

— Все правильно. Аристарх Владленович часто закрывается изнутри. Когда он напает свою карму космической энергией, он открывает дверь и начинает сеанс.

— Видно, не заправился еще колдун, — съязвил Витек.

Девушка хотела сделать ему замечание, но, посмотрев еще раз на автомат, передумала.

— Дверь надо ломать, — предложил Элдфорт. — Чую, так он вряд ли откроет... Вольдемар, выводите людей на улицу, Витек, начинай.

— Как это ломать?! Вы своим уме? — запротестовала девушка.

— Цыц! — осадил девку Витек. — Сиди и не вякай! Видишь, здесь люди при исполнении! Или на пятнадцать суток захотела? Я тебе устрою.

— Пройдемте, пройдемте... Гражданочка, вот сюда. Да, на улицу. Сеанса сегодня не будет. Аристарх Владленович заболел. Вот сюда, бабуля, идемте за мной. — Вольдемар выводил клиентуру оккультного салона на улицу.

Люди стояли возле здания, некоторые махнули рукой и стали расходиться по домам, но оказались и довольно стойкие граждане, решившие дождаться мнимого гуру по фамилии Лгунов.

Раздались женские вопли и крики, Вольдемар принялся успокаивать и выпроваживать оставшихся людей. Отправив фанатичных любителей эзотерических услуг восвояси, Вольдемар вновь зашел в оккультный салон.

Дверь Аристарха Владленовича была открыта нараспашку, возле нее лежала в бессознательном состоянии девушка с ресепшена. Из приемного кабинета Лгунова вышел Роберт Элдфорт.

— Застрелили нашего чародея, — сообщил он.

— Как застрелили?

— Из двуствольного ружья, прям в башку. Половину лица разворотило! Видок так себе... Аж секретарша в обморок шандарахнулась, валяется без чувств. Прям не знаю, то ли два катафалка вызывать, то ли один. Сколько у нас здесь трупов всего? А, Вольдемар?

— Роберт, так она живая или нет? — с дрожью в голове спросил Вольдемар.

— Живая, живая! Чего с ней делается, — влез в разговор Витек. — Какие нежности телячьи, от этого еще никто не умирал.

— Я и сам вижу, как вздымается грудь, — подметил Вольдемар. — Значит, испугалась просто.

— Грудь — это хорошо. В смысле хорошо, что вздым-дам... Тьфу ты! Вздымается, — усмехнулся Витек. — Есть чему вздыматься!

— Я вызвал опергруппу и наряд, — сказал Роберт. — Там зеваки разошлись?

— Да, я всех отправил...

В коридор вошли два медбрата в синих куртках и с чемоданчиками в руках.

— Всем здрасте! Скорая прибыла.

— Это у нас, что ли, жмур? Молодая, красивая какая... Сиськи-то размер третий, не меньше, — смеясь, констатировал медбрат.

— Три с половиной или четвертый с небольшим, — с интонацией заслуженного искусствоведа поправил второй медбрат.

— Я вообще-то живая! — запротестовала девушка. — А размер у меня четвертый, ровно.

— Извиняемся, ошиблись чуток. Живите на здоровье!

— Ага, живите! — рявкнула на медбратьев девушка. — Запишете в покойницы и почку вырежете! Или еще какой орган...

— Мадам, ну зачем так сразу. Вырежете... Мы вашу почечку взаимы возьмем. И будет лучше, чем было! Если доживете, конечно. — Медбрат заржал.

— Ну все! С меня хватит этих оскорблений! Я ухожу, я пошла домой. Хватит с меня этого кошмара. Завтра же уволюсь. Не работа, а каторга.

— Подождите, куда же вы пойдете? Сейчас приедет оперативная группа, им нужно показания у вас взять.

— А домой они ко мне разве не могут приехать? Снять эти показания? — наивно спросила девушка.

— Нет, представляете, какая незадача, к сожалению, не могут. Но и отпустить я вас сейчас не могу.

— Почему?

— Откуда я знаю, может, это вы из ружьишка уколошили? А?!

— Кто, я?!

— Начальник и подчиненная, вечный конфликт.

— Я вообще, если хотите знать, сегодня не должна работать, это Ольга-сменщица попросила подменить. Сказала, что заболела. Вот и согласилась по доброте своей. — Девушка задумалась. — Ну Ольга! Ну подстава... Такие нервы тут, с ума можно сойти!

— Это чье? — Вольдемар держал в руках парик с волосами рыжего цвета.

— Это Ольки-сменщицы парик. Она в народном театре играет, актриса.

— Самодеятельность?

— Я особо не вникала, но вроде того. Спектакли они там какие-то ставят, репетируют...

Вывернув парик наизнанку, Вольдемар обнаружил точно такой же ярлык, какой он видел на маске в квартире у Анны. Тот же логотип — черный кот. Одинаковая фирма у двух вещей для маскировки и рыжие волосы... Первый шаг к разгадке сделан.

— А скажите, милая барышня, в какие дни ваша напарница еще отпрашивалась? Можете припомнить? — задал вопрос Вольдемар. — Только желательнее поточнее.

— Так у нас есть журнал, рабочий график сотрудников. В нем мы отмечаем, кто когда работал, кто во сколько пришел и ушел.

— Очень интересно. Позвольте взглянуть?

Девушка открыла шкаф и достала с верхней полки журнал. Раскрыв толстую разлинованную тетрадь, Вольдемар достал из кармана ежедневник и сверил дни, когда в квартире у Анны бывал призрак. Он пробежал глазами по датам и сравнил числа, когда секретарь-референт Ольга Губошлепова отсутствовала на работе, и все встало на свои места. Числа совпадали! Второй этап пройден, разгадка сделалась еще ближе. Теперь главное — убедить Роберта, кто истинный преступник и настоящий убийца. Зная твердолобую упертость Элдфорта еще со школьной скамьи, сделать это будет не просто. Ему подавай неопровержимые доказательства, а все остальное — лишь косвенные домыслы.

— Это еще что? — Вольдемар увидел на столике для сотрудников пластмассовую баночку. — Так, посмотрим... Ага! «Ра-мо-но-бад», — по слогам прочитал он. — Средство для снижения веса.

Повертев в руках баночку, он открыл круглую крышку и понюхал содержимое, порошок шоколадного цвета. Действительно, «Рамонобад». Затем спросил, обращаясь к девушке:

— Чье это? Ваше?

— Боже упаси! У меня, слава богу, с этим нет проблем, у меня великолепная фигура от природы. В отличие от некоторых, целлюлитом не страдаю. — Девушка встала с диванчика, чтобы продемонстрировать свои модельные достоинства.

— Верим, верим... Присядьте! — остудил знойную секретаршу Элдфорт.

— Это лекарство, точнее, средство для притупления голода. Но в больших дозах имеет побочный эффект, оно вызывает галлюцинации, депрессию и даже иногда склонность к суициду. А если смешать с кофе...

— Вольдемар, ты уверен? — спросил Элдфорт.

— Отвечаю на все сто! Я это лекарство хорошо знаю. Сам в свое время худел на тридцать килограммов.

— Я помню тебя, когда ты в дверь не пролезал.

— Гашиш, помимо того что действует одурманивающе, вызывает у людей сильный аппетит. Тогда ученые решили создать лекарство с противоположным эффектом, которое бы притупляло голод.

— Получается, теорема от обратного?

— Да, похоже... Но главный принцип данного препарата — воздействие на те же участки мозга, только с противоположным эффектом.

— Чего только не придумают в наши дни! — удивился Витек.

— Лекарство было запатентовано как средство для борьбы с лишним весом и ожирением. Но неожиданно проявились и сильные побочные эффекты. Те, кто когда-либо курил гашиш, знают, что он вызывает эффект смеха.

— Наркота позволяет людям чувствовать себя счастливыми.

— А у «Рамонобада» оказался противоположный эффект. После приема люди погружались в депрессию, испытывали галлюцинации и начинали подумывать покончить жизнь самоубийством. Страшный психоделический трип мог растягиваться до трех дней...

— Стремное удовольствие.

— Ощущения от передозировки — как путешествие в ад и обратно. Интересно другое. «Рамонобад» запрещен практически во всех странах Европы, кроме Голландии и Швеции, кажется. У нас же в стране его можно приобрести в любой аптеке под видом экспери-

ментального химического вещества не для внутреннего применения.

— Но разве это останавливает наркоманов?

— «Рамонобад» — относительно молодой наркотик. Поэтому о побочных свойствах мало пока кто знает, к счастью.

— Выходит, это сменщица Ольга своего шефа-колдуна завалила? — недоверчиво спросил Элдфорт.

— Наконец ты начинаешь прозревать! — закричал Вольдемар на друга. — Роберт, очень прошу. Если ты не хочешь, чтобы стало еще одним трупом больше, надо прямо сейчас ехать к ней домой и брать эту шуку за жабры, пока не сорвалась.

— Бархоткин дело говорит. Может уйти тварь, — огласился Витек.

— Значит так, девушка с красивым бюстом. Живо носи сюда адреса всех ваших сотрудников! Пулей! — скомандовал Элдфорт.

* * *

— Какой у нее там номер квартиры записан?

— Семьдесят четыре.

Бархоткин, Элдфорт и Тютин поднимались вверх по лестнице.

— Это общежитие какое-то... — задыхаясь, сказал Вольдемар.

— Так оно и есть, общежитие. Общага квартирного типа.

— Не поймешь, какая где квартира! — с досадой заметил Витек. — Ни цифр на дверях, ни обозначения...

— Но ходить и стучать во все двери с вопросом «Вы не знаете, где тут у вас Ольга Губошлепова живет?» — тоже не лучший вариант, сам понимаешь.

— Кажется, эта. — Вольдемар указал пальцем на серую облезлую дверь.

— Ты уверен?! — недоверчиво спросил Витек.

— Ну да. Даже в уме два раза перепроверил. — Вольдемар задумался. — Нет, точно эта! Ты, Тютин, меня даже не сбивай! Если я сказал: эта дверь, значит, эта! Не вводи меня в заблуждение!

Элдфорт вежливо постучался, но, как и следовало ожидать, никто даже не думал открывать.

— Ломай, Витюша! — сказал Вольдемар.

Витек вопросительно посмотрел на Элдфорта, тот одобритительно кивнул.

Стоя на лестничной площадке, Витек сделал несколько шагов назад, чтобы взять побольше расстояние для разгона. И, выпятив вперед плечо, словно бык на красную тряпку, понесся вышибать дверь. Тонкая дверь поддалась штурму с первой попытки. За дверью находилась одна комната, где сидела на стареньком диван-

чике сухая костлявая старушка и смотрела телевизор. Экран советского кинескопа из последних сил, без звука, мерцал в темноте.

— А Ольга Губошлепова где? — искренне не понимая, спросил Витек.

Старушка равнодушно посмотрела на трех здоровых мужиков, валившихся к ней вечером без приглашения в квартиру, и спросила трухлявым голосом:

— Ась?

— Бабушка, а Ольга где? Губошлепова? Внучка ваша, наверное... — деликатно, чтобы не спугнуть, спросил Элдфорт. Ответа не последовало. Тогда Роберт не выдержал и заорал: — Где Губошлепова?! Слышишь ты меня или нет?! Ольга Губошлепова здесь живет?!

Старушка смотрела телевизор, не шелохнувшись. На шум отворилась дверь квартирки напротив, откуда вышла хмельная тетка в махровом халате и с пропитым лицом. Из аксессуаров у нее на голове своей жизнью хаотично жили бигуди.

— Ну чего орешь?! Глухая она, не слышит ничего! Хоть ты оборись весь!

— А Ольга тогда где?

— Губошлепова этажом выше живет. Над старухой.

Витек и Роберт одновременно посмотрели на Вольдемара, тот лишь с удивлением развел руками.

— Только у нее никого дома нет.

— Это еще почему?

— На спектакле она. Спектакль сегодня у нее в ДК тепловозостроителей. Сама меня на премьеру приглашала, только я спектакли не очень, я больше оперетту люблю. А вы любите оперетту?

— Очень... Спасибо вам за информацию.

— Вы нам очень помогли, мерси, — улыбнулся Тютин.

— Мы сейчас поступим следующим образом, — сказал Роберт. — Мы с Вольдемаром сейчас поедем в ДК на спектакль, благо тут недалеко. А Витя у нас остается чинить бабушке дверь.

— Вить, ты извини. Я филолог, у меня с цифрами туго, — оправдывался Вольдемар перед Тютиним, которого лишили встречи с прекрасным.

— Гусары! — Тетка с пропитым лицом улыбнулась во весь рот по-лошадиному, выставив переднюю челюсть, правда, у нее не везде находились целые зубы. — А на опохмел души рублишком не поможете? — по-простецки спросила она. — А? Чего замолчали? Гусары!

* * *

Выйдя из подъезда, Бархоткин и Элдфорт долго искали, где припарковал уазик Еремы. Обойдя несколько раз жилой дом, они заметили вдали, сбоку от трансформаторной будки, знакомый автомобиль.

— Только скажите, что опять никого нет!

— Да мы бы с удовольствием, — вежливо улыбнулся Роберт. — Но она сейчас на спектакле в тепловозке.

— В тепловозке, — с отвращением повторил Ерема. — А я-то думал, что хуже ничего быть не может. — Он завел мотор и поехал обходными дворами во дворец культуры «Тепловозостроитель».

Вскоре Вольдемар сказал:

— Послушайте, хотите пару советов насчет маршрута?

— Заткни пасть. — Шофер произнес это совсем тихо, но резко подался вперед и сжал руль с такой силой, будто хотел сломать его пополам, как засохшую сушку.

— Наконец-то приехали! — простодушно сказал Роберт. — Девочки, не ссоримся, вам еще вместе работать.

Вольдемар попытался улыбнуться, но вид у него был хмурый и озадаченный.

* * *

— В зале полный аншлаг, — прошептал Бархоткин, выглядывая из-за кулис в зал. — Нельзя на сцене брать, скандал может произойти.

— Ружья мы у нее в гримерке не обнаружили. Надеюсь, у нее не будет миниатюрного пистолета в трусиках. Возьмем гладко, без сучка и задоринки. Я к себе в отдел позвонил, вызвал подкрепление, часть ребят на входе дежурят, а другие перекрыли выходы из ДК.

— Роберт, смотри, кого я вижу...

— Кто там еще?

— Кажется, мужа Аньки Шевельковой.

— Максима?

— Ишь ты, сидит во втором ряду, спектакль смотрит, а Аньки в зале нету. Интересно... Он это или не он? Темно, разглядеть толком не могу.

— Да плюнь ты на него!

— Пожалуй, так и сделаю. Хорошее предложение.

— Вольдемар, ты лучше скажи, что за пьесу они играют? Где-то я уже это слышал...

— Ты чего, это же Максим Горький, «На дне».

— Точно! То-то я гляжу, слова знакомые: «Человек — это звучит гордо». Помню, в школе наизусть заставляли учить.

— Сейчас не учат, убрали из школьной программы.

— Да? Не знал... Хотя, с другой стороны, правильно убрали. Нечего детям всякой фигней головы забивать.

— Еще чуть-чуть до конца осталось, четвертый акт пошел, скоро кончится.

На сцене разворачивалось финальное действие: жирный и лысый барон, словно подбитая дробью утка,

кричал, ползая на карачках: «Эй, вы! Люди! Иди... Идите сюда! На пустыре... Там... Актер... Удавился!» Повисло гробовое молчание, и только пьяный Сатин досадливо произнес вполголоса: «Эх... Какую песню испортил... Дур-рак!» Зал зааплодировал, затем зрители повставали со своих мест и стоя искупали артистов в овациях. Артисты дружно взялись за руки, образовав большой полукруг, и направились к краю сцены по традиции на три поклона. Актриса, игравшая роль Василисы Карповны, спустилась со сцены и, подбрав подол платья, быстрым шагом, практически бегом, устремилась к главному выходу, при этом стараясь органично смешаться с толпой в надежде остаться незамеченной. Зрители косяками потянулись к выходу.

— Роберт, кажись, она уходит? — запаниковал Вольдемар.

— Не бойсь, там ребята из моего отдела у главного выхода дежурят, никуда она не уйдет.

— Это замечательно, что они у тебя там дежурят! Только она развернулась и протискивается сквозь толпу к аварийному выходу, где пожарный щит висит. Надеюсь, там тоже кто-нибудь дежурит?

— Твою мать! Никого там нет... Это другой конец зала, они не успеют перехватить. Как я об этом не подумал!

— Роберт, она достала ножницы.

— Замечательно! Теперь пытаться скрутить ее в зале бессмысленно.

— Почему?

— Опасно! Она может взять кого-нибудь из зрителей в заложники и прикрываться им как щитом.

— И что делать?

— Это провал! — Роберт схватился руками за голову.

В свете ярких прожекторов на сцену артистической походкой вышел Вольдемар. Взмахом ладони он предупредил актеров, чтобы они отошли в сторону, а сам вышел на середину сцены.

— Всем оставаться на своих местах!

Зрители, тянувшиеся неспешным ручейком к выходу, обернулись на сцену. Вольдемар покраснел, но взяв себя в руки продолжил:

— Спектакль не окончен. Все только начинается! Ха-ха-ха! — Откашлявшись, Вольдемар продолжил: — Присаживайтесь поудобней обратно в ваши кресла, а Василису Карповну я попрошу постоять.

Актриса, обескураженная таким поворотом событий, застыла на месте.

— Итак, начнем наш пятый акт. Перед вами, господа, во втором проходе стоит кто бы вы думали? Василиса Карповна Костылева? Не угадали... Это опасная преступница по имени Ольга Губошлепова. Она не только

обварила своей сестре Наташе ноги кипятком, но и убила своего мужа Михаила Костылева.

В этом момент режиссер спектакля, стоя за кулисами, схватился за сердце. А Вольдемар, жестикулируя, продолжил обличительный монолог:

— Губошлепова воспользовалась суматохой, происходившей на сцене, и убила своего мужа ножницами ударом под лопатку, прямо в сердце. Далее она подняла панику, чтобы в неразберихе замести следы и свалить всю вину на своего любовника Ваську Пепла. И ей это практически удалось, но выискался один свидетель, который все видел и знал, кто истинный убийца Михаила Костылева. Это актер. Да, господа! Актер все знал... И ему бы сидеть и помалкивать в тряпочку, но он начал шантажировать Губошлепову, вымогать у нее деньги, за что и поплатился. Она отравила бедолагу, а затем, смастерив петлю, повесила, инсценировав самоубийство. Попрошу полицию войти в зрительный зал и обезвредить опасную преступницу... Финита ля комедия. Карету мне! Карету!

Занавес!

ЧАСТЬ 3. ДВОЙНОЙ СЛЕД

ГЛАВА 1. НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ВСЕГО ПРЕДУСМОТРЕТЬ

На холостяцкой кухне у Роберта Элдфорта за столом сидел Вольдемар и резал большим ножом шоколадно-кремовый торт. Серебристая сталь плавно разрезала коржи, пропитанные кремом, кусок за куском, кусок за куском... Из ванной вышел Роберт, он был одет в спортивный костюм и вытирал голову полотенцем.

— Ну и натворил ты дел, Вольдемар! — Роберт снял с плиты закипевшей чайник. — Мне начальство шею намывило.

— Ты толком можешь объяснить, что случилось?

— Трындец случился! Мало того, что ты сорвал вчера премьеру спектакля. Ты еще и обвинил невинного человека.

— Зря ты так, Роберт. Никого я без причины не обвинил, а пресса оценила мое выступление на отлично. — Вольдемар протянул другу свежий выпуск газеты «Коломенские ведомости». — Можно сказать, моя роль второго плана спасла весь спектакль. Прочитай сам, вот там на пятой странице рецензия о постановке пьесы «На дне».

Элдфорт развернул листы газеты на нужной странице и принялся читать рецензию.

Спектакль превзошел все ожидания, от первой и до последней минуты он был поставлен в древних традициях

русского реализма. Все артисты не играют, а живут в своих образах на сцене.

Горький писал горькую правду. Он вырос среди самых низов, сумев самовоспитаться и написать о том, что пережил. Ничего не подменяя и не перевирая, он показал чистую правду о людях, оказавшихся в силу разных обстоятельств на дне, на обочине... Почему нет справедливости ни в одном человеческом сообществе? Откуда берутся эти жители дна? Извечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?». Несмотря на все перегибы, большевикам удалось добиться того, чего не удавалось ни в одной стране мира. Все граждане имели свое жилье, работу и получали пенсию, в отличие от царской России. Вот они, истинные истоки революции, а никакие не подлые предатели, исходящие из вражеской группировки «Антанта». Как не допустить второй революции и сделать так, чтобы «жители дна» современной России смогли встать с колен на ноги? Оставим этот вопрос для высших элит страны.

А теперь об артистах-любителях. В основном в спектакле заняты молодые актеры. Все играют талантливо. И в этом заслуга режиссера Анатолия Михайловича Крапивкина. Когда смотришь пошлые сериалы по телевизору или игру ребят из КВН команды «Уральские пельмени», хочется крикнуть во всеулышание: «Не верю!» А здесь каждый из актеров на протяжении трех часов выкладывается полностью. Им начинаешь верить. Очень важная деталь: на заднем плане сцены висят иконы, рядом с которыми все время горят свечи. Ловлю себя на мысли, что в знаменитом спектакле театра «Современник» икон на сцене не было. В советское время это было запрещено, а в царское время во всех жилых помещениях был красный угол с иконами, даже в ночлежках.

Потрясла неожиданная развязка спектакля: режиссер народного театра Крапивкин решил сделать ход конем и ввел в пьесу дополнительный пятый акт: на сцену на фоне старых декораций ночлежки вышел сыщик в современном одеянии и разоблачил истинную сущность каждого персонажа пьесы. Все они являются убийцами своих душ, погрязших в кромешной лжи, фальши и обмане. Духовный катарсис на костях из двух трупов, от чего постановка только выиграла и приобрела эффект замкнутого детектива. Когда закончился спектакль, зрители минут десять стоя аплодировали артистам и режиссеру. А героиню пьесы Василису Карповну Костылеву для пуцего натурализма скрутил наряд полиции и под белые ручки сопроводил в КПЗ.

Пожелаем же народному театру ДК тепловоозроителей новых спектаклей, новых фестивалей и новых побед!

Роман Блюров

— Да хрен с ним, со спектаклем этим. — Роберт скомкал газету и выбросил в помойное ведро. — Тут даже не в этом дело...

— А что не так?

— Невиновна мадам Губошлепова, по всем статьям.

— Как? А доказательства?

— Да какие доказательства! — вспыхнул Элдфорт. — Вся линия обвинения рушится, как карточный домик. Любой адвокат так это дело в суде обставит, что прокурор в луже сидеть будет.

— А рыжий волос? А то, что не было на работе? А лекарство «Рамонобад» с наркотическим эффектом?

— Это ничего не доказывает. Рыжие волосы, что ты нашел в квартире у Аньки, не совпадают с волосами из рыжего парика Губошлеповой. А сама она у нас короткая стриженная брюнетка. Меня эксперты на смех подняли. Говорят, ты чего нас, Роберт, своей ерундой от работы отвлекаешь, тут и так на глаз видно, где искусственный волос, а где натуральный. Парик из искусственных волос состоит... — Роберт сделал многозначительную паузу, а затем продолжил: — Теперь второй твой довод: не было на работе. Так она в это время была на репетициях, полно свидетелей, весь коллектив театра может это подтвердить. Даже сам режиссер Крапивкин, я его допросил. Он подтверждает, Губошлепова в те дни присутствовала на репетициях. И что там еще у тебя было? Лекарство «Рамонобад» для похудения. И здесь тоже прокол! Она действительно подтверждает, принимала данный препарат по специальному рецепту от диетолога. И справка с печатью прилагается. Ей это нужно было для роли, так как в пьесе у героини слишком молодой возраст, около двадцати лет, а мужу по пьесе за пятьдесят. И чтобы показать эту разницу между дряхлым пожилым мужчиной и худенькой девушкой, по указанию режиссера она была вынуждена сбросить семь килограммов для роли. Между прочим, сам Крапивкин это тоже подтверждает.

— А Максим, он же сидел в зале? — Вольдемар пытался нащупать хоть какую-нибудь, пусть самую незначительную зацепку. — А помнишь, я тебе тогда видео показывал из квартиры? Там силуэт...

— Да что видео! — отмахнулся рукой Роберт. — Это тоже ничего не доказывает, силуэт какой-то промелькнул в темноте... Вольдемар, а может, это ты сам замочил Лгунова? А теперь все хочешь свалить на Максима? И прибрать Аньку к себе? А чего? Невеста она завидная, с квартирой. Я ведь, брат, не первый день убийства расследую, такого насмотрелся, хоть книгу пиши. — Элдфорт испепеляющим взглядом смотрел на Бархоткина. — Признавайся по-хорошему. Это ведь ты Аристарху Владленовичу башку прострелил! Не отворачиваться! В глаза мне смотри!

Вольдемар сидел весь красный, как помидор.

— У тебя здесь душно, Роберт. — Бархоткин встал из-за стола, подошел к окну и открыл форточку.

— Ладно, расслабься! Знаю, не ты убил. К тому же у тебя есть алиби. А что Максим сидел в зале — так это еще надо доказать. Ты уверен на сто процентов, что именно это он там сидел? Сам говорил: кажись, он, а может, и не он.

— Могу у Ани уточнить, посещал ли Максим этот спектакль. Он ей муж все-таки, она должна знать. — Вольдемар постепенно отходил от беспочвенных обвинений, цвет лица снова приходил в норму.

— Уточни, уточни... Даже если и выяснится, что у него есть любовница. У нас в стране за такое не сажают, а наоборот, даже руку пожмут. Вот видите, какой молодец, сразу двух баб окучивает! Мужик! А Губошлепову надо отпускать. Нечего нам ей предъявить.

— Как это отпускать?! То есть прямо так взять и отпустить?

— Ну если ты такой джентльмен, то можешь цветов ей купить и лично извиниться.

— Ага, щас! Золото, бриллианты... И конфет в придачу.

— А что, я гляжу, у тебя есть более оригинальные способы загладить свою вину...

— Нельзя так взять и отпустить, она может спугнуть настоящего убийцу.

— Есть мысли? — с особой серьезностью спросил Роберт.

— Есть. Но надо кое-что перепроверить еще раз.

— Я могу задержать Губошлепову еще на двое суток, это самое большое, что я могу сделать. На этом разговор закончен, точка.

* * *

Пока Вольдемар ехал от Роберта к Анне в больницу, сидя в хвосте трясущегося и громыхающего трамвая, он достал из внутреннего кармана пальто блокнот с ручкой и записал десять вопросов. Если он получит на них ответы, ситуация с убийством должна проясниться, и все встанет на свои места.

В блокноте было написано следующее.

- 1) Кому принадлежат рыжие волосы не из парика?
- 2) Откуда в кофе взялся наркотик, вызывающий галлюциногенный эффект?
- 3) Каковы истинные мотивы убийства Лгунова?
- 4) Что общего у фирм, чьи контакты указаны на визитках?
- 5) Присутствовал ли Максим на спектакле или это был не он?
- 6) Все-таки зэк убил свою жену или нет?
- 7) Кто скрывается за посторонним силуэтом на видеозаписи?
- 8) Ольга Губошлепова действительно ни при чем?

9) Кто является верхушкой преступной пирамиды?

10) Будет ли рада Аня, когда я навещу ее в больнице?

Вольдемар убрал обратно в карман блокнот и ручки: пора выходить, трамвай подъезжал к остановке «Центральная районная больница».

В больнице Вольдемару сказали, что Анну выписали несколько дней назад. Тогда он поехал к ней домой. Дверь долго не открывали, обычное дело для семейки с прибабасами. Наконец, дверь все-таки открыла заспанная Анна. Высунув лохматую голову и сделав кислую мину, она спросила:

— Когда ты наконец оставишь меня в покое? Как же мне все это надоело, господи! Опять ты сюда приперся.

— Ань, кто там еще? Опять этот сумасшедший сыщик? Гони его к черту!

— Да, это опять он.

— Передай ему, что лазейки с балкона на балкон я заделал с двух сторон цементом. Поэтому пускай проваливается! А я просто зашел спросить, как у тебя дела. Да и в целом увидеть.

— Не надо ко мне заходить! Ты что, разве не понимаешь, я не нуждаюсь в твоём внимании. Когда ты наконец женишься? Может, тогда ты перестанешь ходить по чужим женам.

— Так ты же сама в тот раз позвонила... У тебя выкидыш случился от избиения.

Лицо Анны побагровело от злости, глаза наполнились щемящей ненавистью. Она агрессивно, не сдерживая себя, закричала на Вольдемара:

— Замолчи! Немедленно!

— А что я такого сказал? К тому же у твоего мужа есть любовница, я сам видел.

— Терпеть тебя не могу! Уходи немедленно! Я написала объяснительную участковому, это я сама случайно упала с лестницы. Так что заткни свой поганый рот! Слышишь?! Уходи, я сказала!

* * *

«Странные существа эти женщины, сегодня понос, а завтра золотуха. Говорил же тогда себе, куда ты все время лезешь? Зачем тебе все это нужно? Что, у тебя дел больше других нет? У самого забот выше крыше, недели три разгрести. А я все в частного детектива играю, как ребенок, честное слово. Разбирайтесь сами со своими проблемами, а я пас».

Вольдемар заперся у себя в квартире, мама опять уехала на дачу к подруге, предстоял одинокий и тихий вечер. Он сидел за кухонным столом, мелкими глотками пил горький горячий кофе и с большим нетерпением ждал. Ему должны вот-вот позвонить, но телефонного звонка так и не было, а ведь от этой важной

информации зависела судьба как минимум нескольких жизней. Вынув из кошелька три визитки и то и дело поглядывая на мобильный телефон, Вольдемар разложил их аккуратно на клеенчатом столе, рядом лежал блокнот с вопросами. Три визитки, три прямоугольные карточки, три разных строения — и везде фигурирует оккультное агентство убиенного Лгунова. На обороте у карточек информация различается. То компания по поставке биологически активных добавок, то агентство недвижимости. Какая здесь связь? Где точки пересечения? Вольдемар исписал весь листок вдоль и поперек, фиксируя всевозможные предположения и догадки и неумело рисуя кривые схемы, планы, мини-чертежи.

Раздался дверной звонок. Погруженный в раздумья о загадочных компаниях, Вольдемар, не посмотрев в глазок, открыл дверь. Перед ним в подъездном мраке стояла женщина в черной парандже, сквозь узкую полоску на него пристально смотрели смуглые глаза. Вольдемар потерял дар речи. «Вот и смерть пришла», — подумал он. А глаза продолжали все так же пристально смотреть. «Что ей от меня надо? И почему она молчит? Секундочку, а не пил ли я сегодня кофе?»

— Э-э-э... — набравшись храбрости, заговорил Вольдемар. — А почему вы сегодня не с косой? Дома забыли?

— Что?

— Да так просто... Интересуюсь.

— Я ваша новая соседка. Здесь квартиру снимаю. У меня зарядка от телефона сломалась. У вас не будет случайно? Стандартный вход, микро ю-эс-би? Мне надо домой родственникам позвонить, а телефон разряжен.

— Надо посмотреть... — Вольдемар скрылся в коридоре своей квартиры, а спустя минуту вернулся с тонким проводком в руках. — Вот возьмите, она, правда, китайская, но должна работать. Вернете когда сможете.

Попрощавшись с новой соседкой, Вольдемар снова уселся за кухонный стол, собрал в кучу визитки и стал перемешивать их, будто колоду игральных карт. Далее с предельной осторожностью он доставал из тоненькой колоды по одной визитке и, раскладывая на столе пасьянс, приговаривал шепотом:

— Тройка... Семерка... Туз... — Вольдемар сделал паузу, а потом повторил снова, но гораздо громче: — Тройка! Семерка! Туз! Тройка, семерка, туз!

Неожиданно позвонили в дверь.

— Вот где пиковая дама и козырной валет? Лгунов или молодой любовник? — спросил сам себя Вольде-

* * *

мар и отправился открывать дверь. — О, привет! Заходи. Давно не виделись.

Снова пришла новая соседка, на сей раз лицо у нее было открыто, а голову покрывал более симпатичный хиджаб.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Как дела? Подошла зарядка?

— Да, все работает. Спасибо. Я хотела бы вас поблагодарить.

— Перестаньте, это совершенно не обязательно.

— Вы любите лепешки с сыром? Они сейчас у меня в духовке, пойдемте, я вас угощу.

Вольдемар терпеть не мог подачек. Даже на работе в школе не брал никогда подарков. Традиционные коробки конфет и бутылки с алкоголем на Первое сентября и ко Дню учителя. Всегда возвращал обратно назойливым родителям, а если те сопротивлялись и не хотели принимать обратно свои презенты, Вольдемар дарил им ответный подарок, равный по стоимости. Пускай не думают, что в этом мире все продается и покупается, далеко не все... Вольдемар также отказывался от занятий, где он выступал как частный репетитор. Учить тех же учеников во внеурочное время и в индивидуальном порядке за кругленькую сумму — это недопустимо. Если преподаватель соглашается на подобные частные уроки, плохо дело. Можно ставить на карьере крест, здесь ты и сгорел как профессиональный педагог. Теперь ты «девочка по вызову», получающая деньги строго по часам, постоянно спрашивающая у своих клиентов: «Продлевать будете?» Ни о какой объективной оценке знаний и речи быть не может. Тебя купили со всеми потрохами, причем по весьма сходной цене. Рука не подымается ставить такому ребенку двойку или тройку, чьи родители заплатили за дополнительные уроки. Приходится ставить оценку на балл, а то и на два балла выше. А иначе, спрашивается, за что же они тогда платили? Еще не поняли? Очевидно — родители в данном случае платят за хорошие оценки по итогам четверти. А что знаний у чада нет, так это неважно! Главное — закончил без троек.

— Так вы любите лепешки с сыром? — повторила вопрос девушка в хиджабе.

Вольдемар сначала хотел вежливо отказаться, но мама на этот раз ничего не приготовила, и в холодильнике шаром покати. Природное чувство голода давало о себе знать журчанием живота. Почесав затылок, Вольдемар в итоге ответил:

— Разве если совсем чуть-чуть, самую малость... одну лепешечку.

— Они у меня в духовке еще готовятся. Пойдемте, я вам заверну с собой, горяченькие.

Войдя в квартиру, они прошли на кухню. Вольдемар задел головой дверной проем и сильно ударился, набив внеочередную шишку.

— Ой, извините! Давайте хотя бы познакомимся для начала, меня Вольдемар зовут.

— Сабина, очень приятно.

Запах свежее испеченных лепешек тут же шибанул по ноздрям, настолько он пробуждал аппетит, что Вольдемар готов был тут же съесть лепешки вместе с духовкой в придачу. Пока Сабина разворачивала на столе пергаментную бумагу, Вольдемар решил отвлечься и перевел взгляд от милой соседки на работающий телевизор. Экран показывал канал: «Коломенское телевидение» (КТВ). Шли местные новости. Ведущая Елена Рыбакова, прочитав прогноз погоды на предстоящую неделю и сделав театральную паузу, мрачно произнесла:

— А сейчас в нашей студии произойдет самая настоящая сенсация. Вы наверняка слышали о громком убийстве, которое произошло несколько дней назад в нашем городе, когда из ружья в голову был застрелен владелец салона по оказанию магических услуг. Ведется следствие, убийца так и не найден. Сейчас в прямом эфире нашего телеканала произойдет сенсация! Убийца у нас в студии, и сразу же после рекламы он готов сделать сенсационное заявление. Не переключайтесь!

Вольдемар напрягся, вытянул шею, услышанная информация свергла его в ступор.

— Вот ваши лепешки. — Сабина протянула ему сверток с едой.

— О, спасибо! Можно, я у вас еще на минуточку задержусь, а то у меня дома телевизор не работает. А досмотреть ужасно хочется, все-таки интересно... Кто же убийца?

ГЛАВА 2. УЛЫБОК ТЕБЕ, ДЕД МАКАР

На экране вновь появилась ведущая Елена Рыбакова, рядом с ней сидел седовласый старик с бородой, как у Хоттабыча. «Где-то я видел этого старика... Точно! В квартире у прекрасной дамы, после посещения кабака "Бар сук"». Рыбакова взяла слово:

— Напоминаю, сейчас в прямом эфире произойдет беспрецедентный случай. Убийца сам позвонил к нам в редакцию и сказал, что хочет сделать чистосердечное признание. Пожалуйста, мы предоставляем микрофон нашему Раскольникову.

Камера взяла крупным планом бородатого старика.

— Кхо-кхох... — Откашлявшись в кулак, старик начал рассказ. — Всем здрасте. Зовут меня Макара Бори-

сович Парфенов. Я убил человека. Родился я в тысяча девятьсот...

— Скажите, почему вы это сделали? С какой целью вы совершили убийство? — перебила Рыбакова.

— Так это... Да, вор он! Скотина! Буржуйская...

— Расскажите нашим телезрителям об этом поподробнее.

— Жили мы, значит, с дочкой в коммунальной квартире. Плохо ли, хорошо ли... Вопрос другой. Главное, мы в ней жили, в коммуналке. А потом появился этот... Лгунов. Запудрил мозги. Дочка его где-то нашла по объявлению. Тут он и начал крутить, вертеть! Приходил несколько раз, якобы квартиру освящать, какие-то свечки жег вонючие, заклинания читал. Потом говорит, у вас жилье с неблагоприятной энергетической обстановкой. Приезжайте ко мне в салон, там все и оформим, вот... Приехали мы, значит, к нему в салон, он весь улыбается. Чай, кофе предлагает. Подписали мы с дочкой какие-то бумаги и лишились в результате жилплощади, остались на улице. Оказывается, это мы не документы на оказание оккультных услуг подписали, а дарственную на свое имущество. Пришли коллекторы и выкинули нас. Делать нечего, сами опростоволосились, подали, конечно, в суд апелляцию, но пока то да се... Наше дело встало, да и куда нам с ним тягаться со своими грошами, когда у него вон какие юристы.

— А когда вы для себя решили, что хотите совершить убийство?

— У меня ружье с советских времен осталось, раньше охотой увлекался. Дай, думаю, пойду заложу в ломбард, хоть какие-то деньги получу. До пенсии ведь еще две недели, а дочка у меня безработная. Жрать чего-то надо... А потом, думаю, да пропади оно все пропадом! И жизнь не жизнь. Зарядил ружьишко и поехал в мистический салон к Лгунову, берданку разрядить. Открыл мне охранник, я ему соврал, что мне назначено. Он говорит, ты, дед, проходи, он у себя, а я пока за сигаретами сгоняю. Ладно, говорю. Прошел... Захожу в помещение, там тоже никого, пусто. Даже этой девки на входе тоже нету.

— Секретарша, — поправила Рыбакова.

— Ага, она... Смотрю, нет никого, я тогда в кабинет. Тут он сидит! Заорал на меня, сами, говорит, виноваты, надо смотреть, что подписываешь, в следующий раз умнее будешь! А с кресла своего кожаного не встает, гад, коньяк пьет... Проваливай, говорит он мне, а то щас охранника позову, наставит он тебе по первое число. Я ему в ответ говорю: ты не кипяпись, Аристархушка, я ведь к тебе с подарком пришел. И достаю из полубуханки ружье. Он заулыбался, сволочь такая! Говорит так нагло: оружие я люблю, а ну-ка неси сюда, а сам сидит в кресле нога на ногу, коньяк пьет. Это можно,

отвечаю. Ща... Один момент. Спустил курки и выстрелил ему прямо в башку! Он и пикнуть не успел. Потом я вышел в коридор и закрыл его в кабинете, так чтобы к нему никто попасть не смог, а ключ выбросил. На входе мне встретился охранник, я ему сказал, что Аристарх Владленович просил ни в коем случае больше не беспокоить. Вот, а дальше...

— Скажите, пожалуйста, вас мучили в тот момент угрызения совести?

У Вольдемара в кармане зазвонил телефон.

— Алло! Да, привет... Нормально. Какие новости? Ага, понял. Черт возьми! Это точно? Я так и думал... Пелагея, спасибо тебе огромное! Я твой должник.

Убрав телефон обратно, Вольдемар еще раз поблагодарил Сабину за лепешки и отправился к себе в квартиру. Усевшись за компьютер, он, громко клацая пальцами по клавиатуре, переносил информацию из своих записных книжек, блокнотов, обрывков листов в текстовый файл. Столь нудный и кропотливый сбор информации занял целую ночь. Под утро, закончив работу стенографиста, он заварил себе крепкого кофе, посмотрел расписание автобусов (ближайшие рейсы до деревни Зягзюлино). Отправив несколько писем по электронной почте и распечатав на принтере результаты своих ночных трудов, Вольдемар рассортировал листы по картонным папкам, накинул на плечи рюкзак и отправился на автовокзал. Сделал предварительно один важный звонок:

— Привет, старина! Я, кажется, знаю, кто настоящий убийца... Или по крайней мере кто за всем этим стоит. Вся информация у тебя на мыле, проверь почту. Мне некогда, опаздываю на автобус!

ГЛАВА 3. ДЕРЕВНЯ

Вольдемар ожидал автобус. Рейс, как в аэропорту, задерживался на неопределенное время. Путь до нужной деревни предстоял неблизкий, но ехать в любом случае надо. Он сидел на скамейке и терпеливо ждал... И вот, о чудо! Со скоростью раненой черепахи разбитая ржавая буханка, громыхая всеми своими внутренностями, все-таки подъехала к табличке с выцветшим расписанием. Показав кассиру-контролеру измятый билетик, Вольдемар прошел в хвост салона, накинул на голову капюшон и заснул крепким сном. Его разбудил тот же кассир-контролер, невысокий мужчина средних лет с угревым лицом вышедшего на пенсию трубочиста.

— Парень! Ты куда едешь? Конечная.

— А сейчас мы где?

— Остановка «Астапово». Сейчас автобус развернется и обратно поедет.

— Мне сюда и надо. Не знаете, как до деревни Зягзулино добраться? Далеко отсюда?

— Это тебе километров семь пешком идти надо.

— А транспорт туда какой-нибудь ходит?

— Не ходит туда ничего. Там и есть всего несколько домов. Заброшенная ведь деревня...

Автобус сделал разворот поехал обратно в сторону Коломны. Шагая по весенней жиже, Вольдемар увидел, как вдали пасутся коровы. Медленные коровы, чье белое тело покрывали черные островки клякс, жевали прошлогоднюю траву, проступающую сквозь тоненькие проталины. В населенном пункте Астапово оказался один работающий магазин, в нем продавалось практически все, что необходимо для жизни: резиновые сапоги, консервы, отравы от паразитов, школьные принадлежности, хлеб, нижнее белье и свежая рыба. Вольдемар приобрел в магазине кило шоколадных конфет, упаковку сухек, связку баранок, вафли, газированную воду. Мороженое Вольдемар покупать не стал, боялся, не донесет, растает.

Пройдя мимо высокой водонапорной башни с авоськами сладостей и с рюкзаком за спиной, он двинулся напрямик по разбитой дороге, следуя дорожному указателю, до деревни Зягзулино (пять километров). Путь до деревни предстоял трудным и тернистым, подтаявший снег набивался в ботинки... Внутри он растаял и замочил ноги по самую щиколотку. Вольдемар увидел проржавевшую табличку: «Деревня Зягзулино — 2 км». Пройдя еще с километр, он на горизонте увидел верхушки деревенских крыш и дач. Вспоминая ориентиры, указанные эком, Вольдемар никак не мог понять, какой именно дом ему нужен. Деревня находилась в полузаброшенном состоянии, несколько более или менее приличных строений робко стояли на окраине и выделялись своей аккуратной архитектурой на фоне остальных сооружений. Вдали показался мост — небольшая перемычка через узкую речушку, состоящая из растрескавшихся бетонных плит. Переход из обычной жизни в жизнь полузагробную. Удивительное место, заключающее в себе всю метафизику души русской. Где живут они здесь? Он говорил, второй дом от разрушенного моста. Мост есть, но вот где дом? Неужели вот тот покосившейся сарай, весь в воде, где половодье и река вышла из берегов?

Дом располагался в самой низине, где река делала зигзагообразный поворот. Рядом стояло еще одно строение, но оно полностью разрушено и не годится для проживания. А единственный дом, пригодный для жилья, получается, обветшалый сарай. Спускаясь с крутого склона, весь обвешанный

авоськами, Вольдемар три раза поскользнулся, чуть не покатился кубарем вниз, но справился, устоял на ногах. Перетаптываясь с ноги на ногу по-пинвиньи, Вольдемар не рассчитал глубину и провалился в глубоководную лужу. По-детски хлюпя сырыми башмаками, открыл дверь калитки, кое-как сколоченную из гнилых деревянных досок. Видимо, Вольдемар перепутал место входа, так как на другом конце участка находилась другая калитка и более прочный забор, а эта хрупкая преграда от прикосновения неугомонного сыщика рухнула. Глухой звук падающего забора пробудил спящее животное. Звякнула железная цепь, и, откуда ни возьмись, вылетел огромный волкодав. Брызжа слюной и клацая зубами, с горящими свирепыми глазами волкодав бросился на Вольдемара. Бежать и отступать некуда. Единственный путь спасения — нырнуть в холодную разлившуюся речку. Что по сути означало медленную смерть от переохлаждения.

* * *

Вольдемар застыл как вкопанный на месте. Бешеная собака сделала несколько яростных рывков в сторону Бархоткина, находясь на расстоянии десяти сантиметров от его ног, но цепь, закрепленная на ошейнике, вытянулась на всю длину, будто струна. Собака от безысходности завывала отчаянным воплем, а затем усердным лаем охаяла Вольдемара, призывая громким гавканьем хозяев выйти на шум.

Вольдемар открыл глаза с целью убедиться, не сожрала ли его агрессивная собака, не находится ли он в ее чреве. Нет, он по-прежнему стоял на том же месте, а бешеная собака, обильно брызгая слюной и страшно клацая зубами, продолжала хищно брехать.

— Барон, фу!

Собака перестала гавкать и, поджав обрубленный хвост, ушла в деревянную будку.

— Фу, Барон! Пошел к себе...

На крыльце стояла круглая баба, судя по седым волосам, достаточно преклонного возраста, хотя лицо бабы имело минимальное количество морщин и абсолютно не соответствовало цвету волос на голове.

— Вам чего? — спросила она.

— Здравствуйте. Моя фамилия Бархоткин. Я из службы социальной опеки, привез гуманитарную помощь. — Вольдемар протянул бабе большие целлофановые пакеты с гостинцами.

— Вот спасибо! — всплеснула руками баба. — От вас, пожалуй, дождешься... Десять лет в обед...

— Так мало финансируют, сами понимаете.

— Ага, понимаю. Небось сами разворовали все, — недоверчиво буркнула баба, но внезапным подарком обрадовалась и внесла пакеты в дом.

Спустя минуту на крыльцо вышел белокурый мальчик и чистыми голубыми глазами молча посмотрел на Вольдемара. Потерявший дар речи Вольдемар не знал, что и сказать, слова комом застряли в горле. Да и что тут скажешь? Когда ты лишился в столь раннем возрасте матери. Никакие слова здесь не помогут, пусть и самые искренние. Важно, что справедливость скоро восторжествует, а все остальное — пыльная быль и тлен, вечные спутники этого сложного мира.

— Алешка! Ты куда вышел босиком?! Заболеть хочешь! — Баба вновь вышла на крыльцо. — А ну марш домой! Живо! Кому сказала!

— Извини, бабуль.

Мальчик послушно убежал в дом, а баба, посмотрев на Вольдемара, спросила:

— Наверное, расписаться там у тебя где-то нужно? За помощь твою.

— Нет, ничего не нужно. Единственное, вот что... — Вольдемар снял с плеч рюкзак, расстегнул молнию и достал оттуда толстую картонную папку, завязанную по краям тряпичными тесемками. — Лучше прочитайте, пожалуйста, что здесь написано. И еще одна просьба, разрешите, пожалуйста, ребенку видеться с отцом, потому что его скоро отпустят.

— Как отпустят? — Баба открыла рот от удивления.

— Да, в ближайшее время он будет на свободе в связи со своей полной невинностью.

Продолжение следует.





Александр МИХАЙЛОВ



О себе

Я уроженец Санкт-Петербурга, могу счесть мою родню, что проживала в нем аж с начала XIX века. Родился в 1966 году в Ленинграде. В десятилетнем возрасте понял, что непременно стану писателем. К сожалению, осуществить мечту оказалось непросто. Я и не подозревал, что на это уйдут годы. Будучи уже подростком, чуть было не стал столяром-краснодеревщиком, но вовремя одумался. Одно время мечтал стать и композитором, но в музыкальную школу меня не приняли, чему я теперь несказанно рад.

Женился в девятнадцать лет. Спешу добавить, что живу со своей женой до сих пор.

В 1990 году мы с женой переехали на Запад. Десять лет прожили в США, до тех пор, пока в конце 1999 года оба не получили американское гражданство, а пару месяцев спустя, в 2000 году, мы уже жили в Европе.

Так уж вышло, что в течение семнадцати лет, с 2000 года и до недавнего времени, мы переезжали: жили и в Чехии, и в Финляндии, и в Турции, и в Латинской Америке.

Литературной карьерой я занялся вполне серьезно в первый год нашего проживания в Америке. Так меня заела тоска, что я засел за свой первый роман, в основном чтобы отвлечься, да и в память о своей детской мечте. Писал его на русском, совершенно не представляя, где и как я его издам. Позднее выучил английский, на котором теперь говорю и пишу совершенно свободно, что позволило мне наконец хоть как-то протиснуться в литературный мир, хотя бы и под англоязычным псевдонимом (иначе бы никто не поверил, что иностранец может грамотно и главное — литературно писать на втором языке).

В настоящее время мы с женой живем в Латинской Америке, на континенте жарком и экзотичном, куда мы вернулись после наших европейских странствий.

За все эти годы мне посчастливилось опубликовать серию рассказов и стихов (на английском) в маленьких литературных журналах в США, Финляндии, Новой Зеландии. Пожалуй, на сегодняшний день самым серьезным достижением на литературном поприще является моя в некотором роде псевдоисторическая сатирическая повесть (You are History), что была издана в электронном варианте компанией Barns & Nobles and on iTunes несколько лет тому назад.

Впрочем, излишне говорить о том, что моей самой заветной мечтой всегда было и есть издаваться в России.



НАШЕСТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН

БЫТОВАЯ СЦЕНКА

Коридор районной поликлиники. Длиннющая очередь томится от скуки. Две старушонки ведут ученый разговор.

— Так слышь, милая, — дребезжит одна, — он, то есть внучек мой, мне тутова, как щас со школы возвратясь, вчерась и сказал...

— Чаво?

— Да што, мол, какие-то тарелки на нас движутся. Из космоса то есть... Ну энти, как их там? Пришельцы то есть, наплонетяне. Вскорости тутова будут.

— Да вы што?!

— Ну! Так я ему и сказала. Што ты, мол, гордишь-то! Нешто тебя энтому учителя твои учут? Ерунде всякой-то нахватываисси, в школе-то своей. Лучше б уроками больше занимался, оболдуй. А то — наплонетяне! А?

— Ну не скажите... Может, оно того... есть, значит, где-то там разум-то...

— Да что вы вракам-то верите? — встревает сердито сидящий поодаль мужчина.

— Почему ж вракам? Кто его знает? Может, и вправду люди-то пишут! А мы тут сидим, ничаво не знаем! А вот накроют всех нас эти наплонетяне — да и надають по шням! Уж больно народ ноне обезурился!

— Это все американцы нас запугивают, — вздыхает некто пожилой с усами. — Напустили ерунды в космос — это чтобы нас, мол, испугать, — продолжает он развивать свою мысль. — Да только у нас дураков нету. Давай запускай свою аппаратуру! Шарахнуть бы по этим их тарелкам — да и всего делов!

— Ага! Шарахнуть! — язвительно замечает кто-то. — А они — по нам!

— Господи! И чему народ только верит! С ума сойти! И экстрасенсов развелось, и знахарей, и еще бог знает кого. Как в каменном веке, честное слово!

— А чиво вы против экстрасенсов-то имеете?

— Да то, что все это обман!

— Ага, обман! А вон у меня соседка-то, слышь, захворала тут намедни, все у ей болит внутрях, што делать — не знает. А тутотко ей умные люди-то и присоветовали — сходи ты, мол, милая, к экстрасенсу.

— Ну и пошла?

— Да еще как пошла! Коли боль заставит — тут уж боже сохрани! Не пойдешь, а побежишь со всех ног, даром что больная!

— Ну и что — помог?

— А то как же! Еще как помог! А опосля она энтого-то экстрасенса объявление в газете нашла. Вырезала, значит, так аккуратнотко...

— Чего вырезала?

— Да я ж и говорю, вырезала энто объявление да и съела!

— Да что вы?!

— Ага! Вот вы смеетесь, а ей все как рукой сняло! Вот тебе и обман!

— Так чего ж вы в поликлинику ходите? Съели бы тоже объявление из газеты, и к врачу шляться не надо!

— Ишь ты, умная какая! А тебе чиво, милая, што я сюда пришла? Не за твой щцет пришла!

— Да ладно вам ругаться-то! — урезонивает кто-то.

— А насчет разума этого инопланетного и тарелок этих — все это диверсия одна и больше ничего, — замечает пожилой с усами.

— В свое время при Сталине за такие разговорчики их миглом всех к стенке поставили бы, писак этих.

— Ну, сказанули тоже! При Сталине!

— А что? При Сталине порядок был. Пропала Россия без хозяина.

— Без хозяина! Ну надо же! Вспомнила бабушка, как была девушкой!

— А вы помолчите! Молоко еще на губах не обсохло!

— Это вы мне? Вот безобразие! Уже и в поликлинике хамят!

— А почему-то «уже»? В поликлинике всегда хамили. Разве нет? Да чего вы на меня уставились?

— Ой! Хтой-то?

Испуганный возглас старушонки заставляет всех умолкнуть и разом повернуть головы в одну сторону. В глубине коридора появляется некто — не более метра роста, с глазами черными, совсем без белков, одетый в... блестящий скафандр!

— Ой, господи! Наплонетянин! — раздается сдавленный крик.

Засим следует сцена такой силы и выразительности, что даже я, писатель, не в силах ее отобразить.



Здравствуйте!

Меня зову Юрий, мне 26 лет. За плечами имею более двадцати написанных произведений, в том числе два из которых — это романы. Как и большинство, писать что-то я начал еще в школе. Тогда это было скорее баловство, чем что-то серьезное. Мелкие рассказы в жанре ужасов и просто смешные зарисовки из жизни — это и было мое увлечение, но спустя несколько лет я понял, что нужно двигаться дальше. Нельзя просто стоять на месте и топить свой талант. Так, шесть лет назад родилась идея написать роман «Кома». Это был огромный и сложный проект, но с ним я справился. На все ушел год, но свет на бумаге это творение так и не увидело. Нет, роман не был каким-то плохим, а просто как оказалось найти издателя довольно проблематично. Крупные игроки на этом рынке практически не обращают внимания на начинающих авторов, а среди рыб поменьше довольно много мошенников. Именно это и побудило меня написать руководство. Да, оно стоит денег, но и времени я на него потратил восемь месяцев. А я думаю, что Вы и сами понимаете, что любой труд должен оплачиваться.

Какова же вся суть проекта и за что Вы отдали деньги? Скажу сразу, что прочитав весь материал, Вы не станете Стивеном Кингом, и слава к вам не постучит в дверь быстро, но зато Вы будете знать основные принципы работы над большим проектом, а также узнаете все тонкости его публикации. Множество людей наступают на грабли и бросают писать лишь из-за того, что им кажется, что их книги ни кто не читает. Это не так. Люди читают и много, но ваши они просто не находят среди тонн открытого мусора. Если вас это заинтересовало, то вступайте в группу проекта вконтакте. С уважением, Глухов Юрий Валерьевич 2018 Все права защищены.

Данное письмо отправлено не с целью спама, а лишь для донесения информации!*

*Орфография и грамматика автора

Галка ГАЛКИНА:

Юрий Валерьевич, очень нужная, очень своевременная книга!

Каждый второй обиженный издательской глухотой автор спит и видит, как же преодолеть эту глухоту!

Жалко, однако, что вкупе с руководством бумага не увидит свет Вашего романа «Кома».

Юрий Валерьевич, дорогой и бесценный, советы может и любит давать каждый дурак. Недаром у нас была Страна Советов, сейчас эта услуга, правда, стала платной, но это не отменяет правила нашей смешной повседневной

книги ужасов: ничто не стоит так дешево, как совет!

Восемь месяцев труда окончились бы полной и безоговорочной победой сил добра над силами зла, если бы мы знали, кто стучится к нам в дверь: Стивен Кинг или не Стивен Кинг! Если все же старый добрый король хоррора Стивен, мы дверь и кошельки откроем, а ежели нет, то заходите завтра!

Ждем Вашей «Комы» как манны небесной.

Очень хочется быть богатой и знаменитой!

P. S. В социальную сеть «ВКонтакте» вступили всей редакцией, но покуда одной ногой!

ПРОКАЗНИК ГЕО, ЧЕЛОВЕК-КРИТИК



В ПОИСКЕ
РЕПУТАЦИИ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых безвестных литераторов, одновременно являясь литературным власовцем, литературным трутнем и литературным пигмеем. Пастернака он по-прежнему не читал, но по-прежнему осуждает. Иные признаки биографии практически отсутствуют или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского края не доехал пока. На этом пока и остановимся.



Георгий Хлусевич. «Гоп-стоп, битте!»

Из книги:

«Выполняя поручение любимого деда, молодой немец Михаэль едет в холодную загадочную Россию — страшную и непонятную. Но вместо того чтобы искать клад, Михаэль внезапно по роковой случайности оказывается в психиатрической больнице — со всеми вытекающими последствиями...»



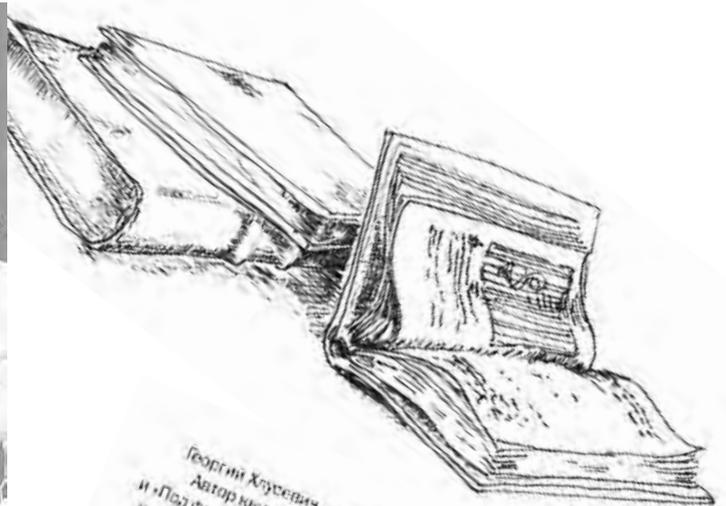
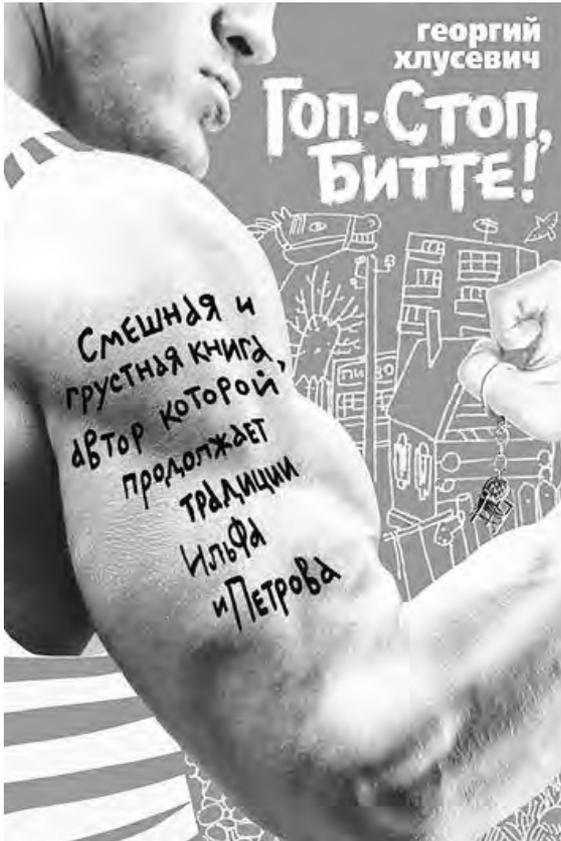
Когда застарелый геморрой и некурабельный простатит лишили древнего, как папирус, благородного Оскара фон Деринга возможности скакать на

его любимом жеребце тракененской породы, старик спятил...

...Было далеко за полночь, когда без упреждающего стука в кабинет вошла Матильда. С неожиданной властью подняла захмелевшего деда и повела в спальню. При этом от глаз Михаэля не ускользнуло кое-что интересное. Рука деда опустилась с талии любимой Putzfrau на правую ягодицу, но не задержалась на прелестной округлости, а шаловливо вне-

дрилась ладонью между теплых холмов в самый низ, вдавило средним пальцем юбку в область возжеленного места, и Матильда не убрала его руку.

А когда благодетель заснул, она подсчитала в уме месячный цикл, тихонечко поднялась с постели и, неслышно ступая, направилась в спальню Гельмута — огненно-рыжего молодого конюха, давно и безнадежно влюбленного в ее изумительные округлости...



Георгий Хлусевич — член Союза российских писателей. Автор книг «Серебро на холмы Галилеи» (2003) и «Под фиговым листком» (2009). Его рассказы публиковались в альманахах «Голоса Сибири» и «Сибирячка», в литературных журналах и альманахах в Германии, Франции и США. Лауреат премии им. И.Д. Родзественского (Красноярский край) 2014 года в номинации «Искусство». Живет в рабочем поселке на Иртыше.



Выполняя поручение любимого дедушки, молодой немец Михаэль едет в холодную и загадочную Россию — страшную и негостеприимную. Но вместо того, чтобы искать клад, Михаэль внезапно по роковой случайности оказывается в психиатрической больнице — со всеми вытекающими последствиями. Ему бы выбраться на волю... Дипломатские события приобретают еще более неожиданный оборот — но героя немаленько спасают, обогревают и приобщают к русским людям Веселая и вместе с тем серьезная книга Георгия Хлусевича — увлекательнейшее чтение.

Проказник Гео, человек-критик:



Найти какие-то сведения о «претенденте на бестселлер» оказалось делом непростым. Но в конце концов на одном из сайтов обнаружилось кое-что.

Родился в городе Даугавпилсе (Латвия). Окончил Омский медицинский институт. Работал врачом в Башкирии и Омской области. Член Союза российских писателей. Печатался в международном литературном журнале «Крещатик» (Герингхаузен), альманахе «До и после» (Берлин), в русскоязычных немецких журналах «Эдита» и «Эдита-клуб», в журнале «Слово/Word», альманахах «Голоса Сибири» и «Складчина». Автор сборника повестей и рассказов «Серебро на холмы Галилейские». В 2013 году в рамках литературного проекта с парижским журналом Les Lettes Russes рассказ «Глюк унд глаз» переведен в бельгийском университете города Монс на французский язык и опубликован на страницах русско-финского журнала LiteraruS.

Автор, что называется, побороздил просторы самсебяиздата. Все эти никому, кроме автора, не известные названия платных «братских могил» ничего

не скажут ни искушенному, ни неискушенному читателю.

Ну, если с автором более или менее ясно, то что творится в мозгу у издателя, который выпустил книгу тиражом 1500 экземпляров, хотелось бы знать? На обложке значится такая требующая срочного медикаментозного вмешательства надпись: «Смешная и грустная книга, которая продолжает традиции Ильфа и Петрова»!

Приведенные пассажи говорят об обратном. Ильф и Петров в гробу, наверное, перевернулись.

Впрочем, книга действительно очень смешная. Ведь ежели перевести с уголовного на общеупотребительный слово «гоп-стоп», то вот что это значит: «То же, что грабеж; нападение с целью хищения имущества потерпевшего, совершенное с применением насилия либо с угрозой применения насилия».

Подозреваю, что редакторы не знали об этом. Но вот чести и репутации Ильфа и Петрова нанесен «некурабельный» урон!

Вопрос: кто за базар ответит?

